

" О Д И С С Е Я "  
П О К Р А С Н О Й Р О С С И И .

(Брошюра № 13-й).

О Г Л А В Л Е Н И Е :

1. Н а ш х о р п о е т . . .
2. Кубанские казаки за Уральским хребтом.
3. Перемещение курсов. Харитоновский дом. Дом инжен.Ипатьева.
4. С т р а ш н а я в е с т ь . . .
5. Закрытие курсов. Прощальный концерт-бал.
6. Р а с п ы л е н и е н а с . . . .
7. "П о с л е д н е е п р о с т и " с б р а т о м . . . .
8. "Р а с п ы л е н и е " п р о д о л ж а е т с я . . . .
9. П о д о р о г е в с е л о К о л ч е д а н .
10. Н а н о в о м м е с т е в с . К о л ч е д а н .
11. С о с т а в с п о р т и в н ы х к у р с о в .
12. К р е с т ь я н с к о е г о р е .
13. К р е с т ь я н с к и е н а с т р о е н и я .
14. Донского Войска полковник Влад.Ник. БОГАЛЬСКИИ.
15. Старший унтер-офицер Василий К а л и с т р а т о в .
16. "На разведке" в Екатеринбургe.
17. В гостях у Роберт Иван. ПЛЮМ. Новый Начальник курсов.
18. Н А Ш А Н А Д Ю Ш А . К А К О Н А У М Е Р Л А .
19. Переживание души. Мои планы. Отъезд из Колчедана, как первый прижок к бегству из Красной России.

\* \* \*

Цена брошюры - 1 доллар. Выписывать по адресу:  
Mr. Th. Elyseev, 502 W. 177 St., Apt.1 C, New York 33, N.Y.

\* \* \*

В брошюре на 2-х листах - восемь семейных фотографий погибших, с кратким описанием судьбы их. Ф.И. Е л и с е е в .

Следующая Брошюра № 14 будет заключительная, под заглавием:  
" Побег из Красной России ". Ф.Е.

\* \* \*





Казак Иван Гаврилович Елисеев с сыновьями. Роден в 1868г. - разстрелян красными 24 марта ст.ст.1918г. в день подавления Кавказского восстания казаков против большевистской власти, 50-ти лет от роду.

Слева на-право: - Старший сын, Андрей, Хорунжий 3-яго Кавказского полка. Роден в 1890 году. В чине Войскового Старшины, разстрелян красными в 30-х годах вместе со своим сыном, которому в 1920-м году было 8 лет.

Левее отца - младший сын, Георгий, Прапорщик, только что выпущенный в офицеры из Тифлисскаго военного училища. Роден в 1896 году. В чине Есаула Корниловскаго коннаго полка родного Войска - погиб в Таврии на пятом/смертельном/ ранении в июле 1920 года, 24-х лет от роду.

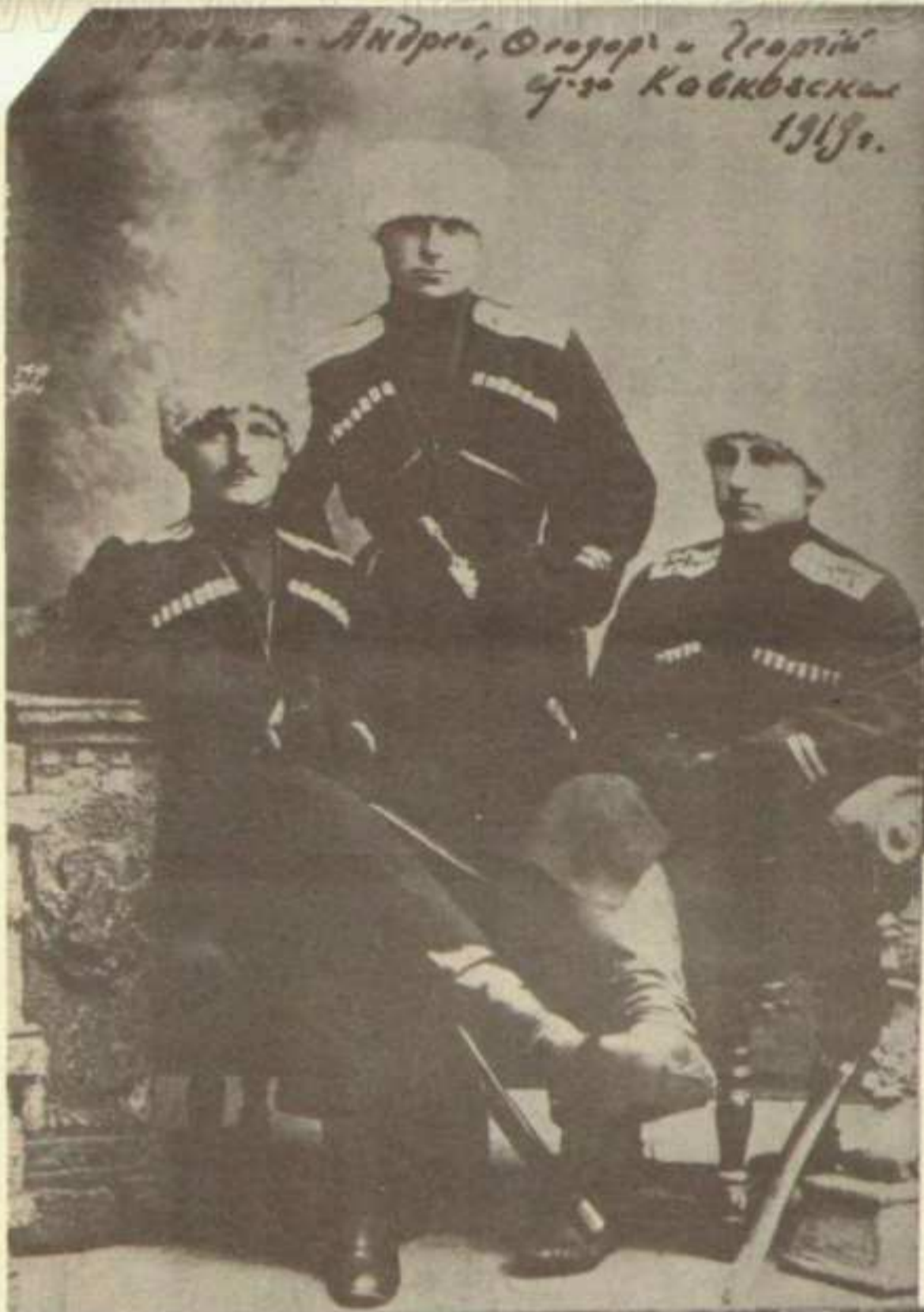
Рядом с ним - средний брат, Феодор, Под, есаул 1-го Кавказскаго полка. Роден в 1892 году. Полковник, Жив. В Америке. Сняты на 2-й день Св.Пасхи 1917 года, в станице Кавказской.

Правее их - наша дорогая Мать-страдалица, Дарья Петровна, урожденная казачка станицы Казанской в 1870 году, из многочисленной семьи героя Кавказской войны стараго урядника "Деда Петра" Савелова. Потеряв трагической смертью погибшими, - свекровь, мужа, двух сыновей-офицеров и трех последних дочурок - потом выселенная из своего дома с конфискацией всего хозяйства и сосланная на работы в Дагестан - умерла "где-то там" в одиночестве в 1932 году. Снята в 1916 году, во время 1-й Мировой войны, в полной радости, благополучия и счастья - и семейнаго и материнскаго.

Внизу справа - ея младшие сыновья - Георгий /Морж/, юнкер Тифлисскаго военного училища и Феодор, Под, есаул и Ад, ютант 1-го Кавказскаго полка. Сняты в Тифлисе, в начале 1917 года /смотрите брошюру № 14-й/.







Братья - Андрей, Федор и Георгий  
с/з Кавказские  
1919г.



Слева направо:  
1. Софья  
2. Миколаевна  
3. Корнукия  
Всех изранены



1909-1919г.



**Семья Елисеичевых, посвя-**  
**щено погибшим.**  
1.Верхний снимок:в среди-  
не наша бабушка в 1913 г.  
Родилась в 1848-м, умерла  
в 1922-м, уехав "за хлебом".  
С нею Лида Белая с матерью  
2.Внизу, брат Андрей, только  
что женившийся в 1909г. на  
дочери Атамана В.К.Жаркова,  
урядника Конвоя Императора  
Александра 3-яго.  
3. Два снимка нашей Надюши  
в 1919г. Родилась осенью  
1902г., застрелилась весной  
1921г.  
4. Слева - нас три брата  
летом 1919г.



## "ОДИССЕЯ" ПО КРАСНОЙ РОССИИ. . .

/брошюра № 13-й/

## НАШ ХОР ПОЕТ. . . .

Как указал в предыдущей брошюре - наше концертное выступление в тюремном своем заточении, безусловно, понравилось красной власти. Через комиссара было запрошено: - желаем-ли мы давать концерты для рабочих на заводах? . . . но бесплатно . . . за это, администрация завода угостит нас хорошим ужином и "на дом" выдаст по одному фунту белого хлеба на каждого человека.

Во всех отношениях - соблазн был велик. Во 1-х, мы можем побывать на воле несколько часов; во 2-х, хоть иногда наесться как следует; а в 3-х, получить еще целый фунт хлеба на руки, да еще белого - не могли не радовать нас. Сопровождать же нас на вечерние концерты будет только один красноармеец с винтовкой - добавил комиссар. Мы с радостью дали наше согласие.

В красной России, в больших городах, в вокзалах, в помещениях бывшего 3-яго класса, были построены театральные сцены, на которых должны даваться разные представления "для услаждения публики, ожидающих поездов".

Кстати, нужно сказать, что разделения "на классы" в вокзалах были отменены; пассажирских поездов почти не было; их заменили товарные, с двойными нарами как для солдат, которые были переполнены крестьянами, рабочими и отпускными красноармейцами до отказа со своими узлами, мешками, корзинками с неприхотливой их пищей на время передвижений. К тому же, да же, и эти "товаро-пассажирские поезда" ходили так не регулярно, что все их ждали на вокзалах многими томительными часами, не будучи уверены - будут-ли они? . . .

Так вот, подобных пассажиров, власти решили услаждать, в их ожидании, выступлениями разных артистов. И в первый же наш концерт в Екатеринбурге, вне стен заточения - прибыли мы в вокзальное помещение.

Конец ноября, или начало декабря, 1920 года. Зима сковала весь Урал. Было очень холодно. Мы все в шинелях и в солдатских "репанных" шапках. Под ногами сорока душ - резко скрипит снег по проторенной санной дороге. Мы идем вольно, широко и быстро шагая, да так от холода, что за нами едва поспевает идти наш страж, единственный красноармеец с винтовкой, не обращая на нас никакого внимания; и все это нам очень приятно, потому что - "мы на свободе" . . . .

В Екатеринбурге вокзал за городом, на север. До него две версты. Дошли скоро. Вошли с черного входа. В вокзале тишина. Ночь. Мы на сцене. Она большая. Хор расположился на ней "по голосам" и занавес открылся.

Мы ожидали увидеть в партере сидящую публику, пусть крестьянско-рабочую, но сидящую на скамейках и ожидающую концертное выступление и . . . . каково же было наше удивление, когда увидели лежащих и спавших на цементовом полу "как попало" - крестьян, баб, их детей - с мешками и узлами переплетенных спящих тел "в поэтическом беспорядке", мягко выражаясь . . . .



И когда грянула первая песня наша - от неожиданности, некоторые спящие поднялись, и мутно и недоуменно посмотрели на нас - вновь опустили головы на свои узлы-мешки, что бы продолжать свой неуютный сон...

Со сцены точно было видно, как неуместно было здесь концертное выступление, в неотапливаемом кирпичном здании в эти лютые морозы горного Урала, да еще ночью, придавленному крестьянству, куда то передвигающемуся с семьями, со своими узлами и мешками, ожидающими долгие нудные часы "своего товарного поезда", о прибытии которого не знает и сам начальник станции...

Концерт окончен. Мы стоим на сцене при закрытом занавесе в ожидании получения положенного фунта белого хлеба. Ужина здесь нет. Кто-то позади обнимает меня рукой за талию и произносит:

"А-а!... попался?... я тебя сразу-же узнал!"

Оглядываюсь и узнаю Оренбургского Войска бывшего хорунжаго Шейна, выпуска нашего Оренбургского казачьего училища 1910 года. Неожиданность была полная и так приятная. Короткий с ним разговор и он поведал: -

"В конце 1919 года, красная армия вытеснила их из Оренбурга. Оренбургская армия Атамана Дутова отходила в степи, в Туркестан. Казаки пали духом. Было и холодно и голодно, куда идти? Он полковник и командир полка, состоявшего почти сплошь из его-же станичников. Решили не идти дальше. Уговорили и его "остаться". Красные предложили полную амнистию. Отобрал у казаков только оружие - всех распустили по домам, не отобрал и лошадей. Главую Оренбургского красного края был его сверстник по училищу, подесаул Каширин. Принял по-дружески и, даже, назначил сменным офицером в Оренбургское красное какалериийское училище, сохранив при нем и его кровную кобылицу. Потом было распоряжение из Москвы - арест всех белых офицеров, лагеря и...сейчас на путях стоит их поезд - высылают куда-то в Сибирь".

- • -

Через несколько дней, нам подали несколько низких разлатистых саней и повезли на один из металлургических заводов, за городом. Здесь мы впервые познакомились с заводской жизнью и их рабочими. Наше пение их очаровало. Гробовая тишина стояла при нашем выступлении, со вперившимися на сцену глазами и конец каждой песни вызывал у них гром восторженных аплодисментов. Потом они /администрация/ говорили, что впервые слышат здесь подобное пение, ранее им совершенно неизвестное.

Они знали - кто мы. И это вносило в их души и любопытство, и предупредительность и желание обласкать нас.

Мы уже отвыкли от мирной жизни, и от штатских людей в хороших костюмах. Нам удивительно было видеть администрацию богатейших Уральских заводов, одетых в очень хорошую черную "тройку" и в галстуках.

На Кавказе мы привыкли видеть, и понимать, рабочих в простых сапогах, в неизвестного цвета "спиджаках", в носоворотках и с какими-то блинами-кепками на головах, почему и удивились, столкнувшись с администрацией завода, сплошь людьми интеллигентными, с инженерами и служащими меньших рангов.

Мы, офицеры, так далеко стоявшие от заводской промышленности, в особенности от рабочего класса фабрик, заводов и, вообще, ученой и рабочей промышленности - совершенно забыли, а некоторые из нас, может быть, и не знали, что все они здесь живут и работают десятки лет, может быть из поколения в поколение, все друг друга знают давно, всякий завод, или фабрика, есть самостоятельная единица, управляется учеными людьми и, каково бы не было "революционное равенство" - в работе по специальности его быть не может.



Здесь мы получили очень вкусный мясной суп, в изобилии самую настоящую пшеничную кашу заправленную коровьим маслом и "на дом" по фунту хорошо выпеченного белого хлеба. Ели за общим нашим столом; подавали нам еду интеллигентные женщины, жены администрации завода.

После концерта - бал, самый настоящий бал - с вальсом, венгеркою, полькою и всеми остальными русскими танцами. Танцующих из нас представили своим дамам и некоторые так-же танцевали "по-старому", навремя забыв нашу душевную тяжесть...

- • -

Через несколько дней, на автомобилях, нас повезли на какой-то очень богатый завод в лесу, принадлежавший раньше видному заводчику-староверу. Завод был величественный. У бывшего хозяина-старовера была, даже, семейная личная церковь. Администрация завода приняла нас особенно внимательно. Концерт прошел блестяще. После него накормили нас отлично. Начался так-же бал. Мы стоим своим гуртом и наслаждаемся наблюдением за танцующими. Кто-то обращается ко мне и говорит:

"С Вами хочет познакомиться одна наша здешняя артистка" и ведет меня к ней.

"Вы очень хорошо танцевали лезгинку... я сама артистка... можете-ли Вы научить меня?" - встречает меня такими словами очень изящное молодое красивое существо. Я соглашаюсь. Потом, в несколько уроков, научил ее. О ней потом.

### КУБАНСКИЕ КАЗАКИ ЗА УРАЛЬСКИМИ ГОРАМИ. . .

Наших концертов было немного. Меж ними мы продолжали оставаться все в той-же тюрьме и голодали. Днем, по отпускным запискам, разрешалось ходить в город. Ходили только на базар-толкучку, в поисках хлеба, меню на сахар, который нам стали выдавать по несколько кусков в неделю. Редко кто ходил в город, в особенности старики. От нашей группы Кавказцев, ходоками на толкучку были автор этих строк и хорунжий Долженко. Толкучка-базар в узком переулке. Она кишит народом. Есть и примитивные лотки, но больше продается и меняется "из под полы".

В один из дней - я на толкучке. Неожиданно вижу в толпе казака-великана, кторый на голову выше всех в ней. Он в приличной, но потертой, черной каракулевой папахе и в черкеске защитного сукна военного времени Конвоя Его Величества, подбитой мехом, с курпейчатой оторочкой по грудному вырезу черкески до пояса, как это принято у казаков и горцев Кавказа.

Столь неожиданная встреча здесь, несомненно, урядника Собственного Конвоя Императора Николая 2-го, последнего Российского Императора, разстрелянного красными в этом же Екатеринбурге в июле месяце 1918 года - не могла меня не заинтересовать - как он сюда попал и зачем? Он блондин, без бороды, русые усики, широкоплечь, строен. Поворотами головы "во все стороны", вижу, он активно ищет купить что-то. Сквозь толпу приблизившись к нему на шаг дистанции, тихо, но внятно произношу:

"Здравствуй брат-казак"...

"Здравствуйте"... нерешительно отвечает он, подозрительно осматривая меня, одетого в паскудную шинель и солдатскую "репаную" шапку.

"Кубанец? - допытываюсь.

"Нет, терец", отвечает он и активно рассматривает меня с головы и до ног серьезными глазами.

"Конвонец?" - допытываюсь, смотря ему прямо в глаза.

"Д...да-а... а Вы кто?...откуда Вы это узнали, што я конвонец?" - уже и он с интересом и любопытством спрашивает меня, вперившись в мое лицо, изучая его.



"Я, брат, кубанец... полковник... многих нас сюда сослали. Не бойся, говори смело все мне". И в доказательство своих слов - отворачиваю полу шинели и показываю ему свои синие английские бриджи, полученные мною под Воронежем, перешитые "на очкур", как явный знак казака.

Убедившись в моей личности, он быстро оглянулся кругом и видя, что никому нет никакого дела до нас - склонился ко мне /ростом я был ему только до плечь/ и быстро говорит:

"Ну што, господин полковник?... што-же дальше будет?... вот-то дожились!... раньше своим мундиром гордились, а теперь вот... все я отпорол с шубы-черкески конвойца, а вот Вы, все-же, узнали, что я конвоец." И, как-бы передохнув от своей исповеди и глядя на меня, продолжил:

"А Вы-то, господин полковник, в каком виде?!... ну, што это?.. на што /на что/ это похоже?!"

И он мне рассказал, что два эшелона /два товарных поезда/ Кубанских урядников уже прошли Екатеринбург, а их эшелон третий, только что прибыл сюда, стоит на путях и разрешено "пробежать на базар". Всех направляют на восток от Уральских гор, на работы в соляных коях.

Разставаясь, мы крепко пожали руки. На душе было тепло, даже и в такой обстановке повидав брата-казака с родных мест.

- \* -

Хорунжий Григорий Долженко, окончивший Кубанское военное училище вахмистром сотню юнкеров, был высокий стройный офицер, скромный и добрый человек. У него была похвальная способность - как-бы незаметно для других - все высмотреть и узнать. А приди в нашу группу - все рассказать.

Так вот - приди из города, он поведал нам, что на товарной станции имеется большая столовая с кухней, в которой кормят все проходящие эшелоны красноармейцев. Он уж был там, познакомился с главным поваром, который его накормил и просил заходить и дальше. Долженко, конечно, скрыл - кто он? А повар-то - из пленных мадьяров, и коммунист; и на родину возвращаться не хочет. После роздачи пищи, от остатком, может дать котелок супа или каши и на дом. "Но он строгий", добавил Долженко.

Как не воспользоваться таким удобным случаем - и вдоволь покушать, да еще, может быть, на дом, в свою группу, принести котелок гречневой каши?! И я с Гришей /так мы его называли в жизни/ двинулись на раздобычу с котелками и в репанных шапках.

Мы там. Вместительная столовая. Высокая чугунная печь накалена до красна. С холода - мы прямо к ней, что бы отогреться. Повар-мадьяр, небольшого роста, широкоплечий, с безцветным лицом рыжеватого человека, стоя на возвышении, большим ковшем разливает суп из громадного открытого котла. Он, как-бы, священнодействует при раздаче.

Стоим с Долженко у печи и греемся. Открывается дверь и, с холодным паром, в столовую входят беспорядочною толпою люди в шинелях, в шубах, в папахах. Несомненно - то были Кубанские казаки. Что бы не быть узнанными в столь паскудном виде, который мы имели с Долженко - отошли к стене. Вошедшие окружили печь, погреться. Стоим и наблюдаем. Вновь открывается дверь и входит новая группа. В шинели, в рыжей папахе, узнаю своего пулеметчика Корниловского конного полка по 1918-19 годам, бывшего прапорщика Семена Дзюбу, казака станицы Старокорсунской. Здоровый, рыжий, неуклюжий но храбрый пулеметчик. Он из урядников-пластунов Великой войны. Войдя, Дзюба, боязливо осматривается по сторонам. Что бы не попасться ему на глаза, его командиру храброго Корниловского конного полка, находящегося в таком позорном положении - поднял воротник шинели. А он, старый козачина-воин, сразу же узнал меня. И повернув в нашу сторону, и подойдя - громко произносит: - "Здравия желаю господин полковник!" Как Вы здесь?..." спрашивает, коротко, привычно козырнув рукою.



"Не громко говорите... и не называйте меня по чину", тихо говорю ему, протягивая руку.

Коротко рассказав ему о своей группе - спрашиваю о прибывших. То, оказывается, прибыл эшелон Кубанских офицеров в младших чинах и урядников, которых ссылают куда-то за Урал.

- \* -

Хорунжий Долженко принес новую весть: - в монастыре, что против нашего Пархиального училища, размещен эшелон урядников, высланных с Кубани. Немедленно-же иду туда.

Монастырь огорожен белой стеной. В центре старинная церковь. Вхожу во двор. В нем, в тулупе, мрачно гуляет высокий казак в папахе. Увидев меня, казак вынув руки из рукавов тулупа и удивленно смотрит на меня.

"Лопатин?... Вы-ли это, порогой?!" - радостно спрашиваю.

"Так точно, господин полковник... Это я. Здравия желаю!" - бодро, чисто по старому отвечает он.

В 1913 году, когда я прибыл в г. Мерв Закаспийской области молодым хорунжим в свой 1-й Кавказский полк - он был старшим урядником, помощником заведующего оружием, как окончивший Ориенбаумскую школу /под Петербургом/ куда командировались грамотные казаки со всех полков для прохождения курса по оружейному и кузнечному делу. По окончании ее - они носили погоны как у юнкеров, но обшитые по краям желтой тесьмой. Лопатин был полковым подмастерьем, которого все знали. С полком он провел всю войну на Турецком фронте и в бытность мою полковым адъютантом - был в моем подчинении.

Высокий стройный блондин, - в нем было что-то благородное от природы. Он сын урядника-конвойца станицы Архангельской.

От него узнаю, что с Кубани, из станиц, красные извлекли всех урядников и вот их, свыше пятисот человек, высадили здесь и разместили в сараях монастыря.

"Я хочу посмотреть казаков", говорю Лопатину.

"Не стоить, Федор Иванович... не интересно... я и сам вышел оттуда, что-бы освежиться на воздухе", вдруг отвечает он. Но я хочу видеть своих казаков-урядников здесь, в изгнании и мы входим в ближайший барак-сарай.

В мрачном бараке, в полутемноте, на полу /не было и нар/ лежали, сидели, курили, громко разговаривали, кружками играли в карты люди в овчинных казачьих кожухах /шубах/, в папахах - смуглые, небритые, давно не умывавшиеся. О чем они говорили, что они хотели, что думали - видя эту картину - не нужно спрашивать. Все курили и почти все говорили. Мне это было понятно. Если мы, их офицеры, в неволе молча переносили всю тоску заключения-заточения, сознавая "свою преступность перед красной властью", то что могли думать эти простые люди-воины, оторванные от своих станиц, от своего хозяйства, от своего труда, от своих семейств и загнанные в неведомую для них северную даль России и вот теперь, как животных, размещенных в мрачных нетопленных сараях без окон!?!..

#### ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОВ. ХАРИТОНОВСКИЙ ДОМ. ДОМ ИНЖЕНЕРА ИПАТЬЕВА

Мы не знали, чем было вызвано перемещение курсов в центр города, в Харитоновский дом-дворец, что на Воздвиженском проспекте. Этот дом-дворец и загадочная жизнь его хозяина, миллионера Харитонова, описана сибирским писателем Мамин-Сибиряк, в его романе, под заглавием "Приваловские миллионы". И действительно - от самого громаднейшего дома-дворца с белыми колоннами на нижней длинной веранде, как бы удерживающих на себе тяжесть второго этажа, с сосновой рощей позади, круто падающей вниз, где происходили



/по роману/

оргии купца Харитоновна - вело какую-то таинственностью. Но что было самое главное, так это то, что против Харитоновского дома, буквально против, угол на угол, стоял дом инженера Ипатьева, в котором была разстреляна вся Царская семья с самим Императором.

С переселением сюда, мы были совершенно свободны в любое время ходить в город куда хотели, и без увольнительных записок. Одним словом - мы были совершенно свободны.

Выходя в город из ворот двора, первым долгом резал глаз трагический дом Ипатьева, стоящий против, на который мы смотрели с неразгаданным ужасом. Были мы и в том переулке, куда выходила та комната нижнего подвального этажа, где была уничтожена Царская семья. Этот узкий переулок круто падал вниз, к городскому пруду. Высокий забор инженера в полтора-два роста человека закрывал сосновый бор, теперь дышащий жуткою таинственностью, словно умышленно построен так, что бы посторонний глаз с улицы, ничего не мог видеть что творится во дворе. Этот переулок совершенно пустынный и мало подходящ для пешеходов. По своей же крутизне - тяжел для подвоя.

Мы говорили с жителями о Царской семье. Никто тогда не верил, что семья Императора разстреляна. Они, даже, возмущенно говорили, что все это есть провокация красных. "Царь увезен... и он еще вернется", заканчивали нам они свои слова.

О гибели Царской семьи мы сами ничего тогда не знали и я лично, только за границей, по разным книгам и по периодической печати, узнал о всех подробностях.

### СТРАШНАЯ ВЕСТЬ. . . .

В Харитоновский дом, на курсы, вселили пять офицеров, прибывших из Архангельска. Узнав, что мы Кубанские офицеры, они как-то странно, скажу - испуганно посмотрели на нас. Все они молодые люди, поручики и подпоручики и один капитан лет под тридцать. Они саперы по образованию. Как-то в разговоре, капитан спросил - знаем-ли мы о судьбе тех Кубанских офицеров, которые в количестве шести тысяч, были сосланы в Архангельск? Мы заинтересовались и они рассказали.

"Прибыв в Архангельск в августе или в сентябре месяце 1920 года, их партиями грузили в закрытые баржи, вывозили куда-то вверх по Северной Двине и в каких-то пустырях разстреливали. Потом баржи возвращались, в них грузили следующих и так, пока не уничтожили все шесть тысяч... Караул состоял исключительно из пленных мадьяр-коммунистов", закончил он свой жуткий рассказ.

Этот капитан саперных войск еще добавил, что по возвращению барж за новым нарядом на разстрел офицеров Кубанского Войска - на полу и на стенах барж было много крови и, даже, вывороченных человеческих мозгов. В стенах находили прощальные записки с родственниками, полные смертельной жутости. Разстреливали из пулеметов.

Это были те Кубанские офицеры и военные чиновники, которых красная власть вывезли с Кубани во время десанта на Кубань части армии генерала Врангеля. Три поезда арестованных мы встретили тогда в Москве, о чем написано мною в брошюре № 11-й. Разстреляны-уничтожены были все шесть тысяч. Увезены на север и как в воду канули. Узнав, что я бежал за границу, и из станицы и из Екатеринодара, запрашивали меня жены увезенных - что я знаю о судьбе их? . . . так как никто из них не получил от них ни одной весточки. Запрашивали, когда я жил уже во Франции и около десятка лет со дня их гибели. И найдется-ли когда-либо это жуткое место их упокоения?!

Плачь Кубань о сынах своих в политическо-историческом аспекте. . . .



## ЗАКРЫТИЕ КУРСОВ. КОНЦЕРТ-БАЛ...

Заккрытие курсов, которые в Екатеринбурге и не продолжались, порадовало нас лишь тем, что с этого дня будет решена наша судьба - кто мы? И тогда каждый изберет себе дальнейший путь - что-же делать?

Кто-то "сверху", все-же, руководил программой вечера. Офицеры-Колчаковцы дадут какой-то водевиль. Мы, кубанцы - концертное отделение. Уведомлено было, что выступит известная балерина бывшего Императорского театра, проживающей в Екатеринбурге. Концерт-бал будет в театре музыкального общества имени Менделеева. Все это нам, Кубанским офицерам, "ничего не говорило" - ни уму ни сердцу.

Моя ученица, молодая женщина, жена писателя и артиста, как местная артистка, хочет выступить на этом концерте в танце лезгинка вместе со мною. Понимая ее артистическое стремление, я соглашаюсь, но с условием, что она достанет соответствующие артистические костюмы, что по ее словам, вполне возможно.

И вот мы в "Уральском государственном хранилище", как он официально назывался. В нем, действительно, очень много, и дорогих, костюмов. Заведует ими старший костюмер, очень любезный не только что со своей знакомой, моей ученицей, но и со мною.

"Не думайте, что это все специально шитые для театра", говорит он мне. "Это, большинство, просто, реквизировано у местной знати... и вот я, старый дурак, хранить чужие вещи и называть "государственными".

-должен-

Костюмы выбраны грузинские, белые, расшитые золотыми галунами. Черкеска с откидными рукавами. Все белое и с золотом. Белая и папаха, косматая. Она должна быть в чадре, с полузакрытым лицом, ученица моя.

Офицеры-колчаковцы хорошо сыграли что-то веселое. На сцене появились "горцы в лесу". Они ждут саамаго Шамиля на молитву, - сидя, лежа. И вот, из-за кулис появляется Шамиль в длинной черкеске, в высокой папахе, перевязанной белой кисеей с длинными концами ее, спадающими вниз за спину. При его появлении, все горцы быстро вскочили на ноги и почтительно потупились перед ним. А он, подняв руки вверх, - протяжно затянул высоким фальцетом - Иль-ля Ал-ла-ах...

Им был есаул 4-го Кубанского пластунского батальона **Конст. Мих. Михайлопуло**, сын полицмейстера города Екатеринодара полковника Михайлопуло. Удивительная личность, о которой нужно сказать.

Шутник, весельчак и озорник по-натуре. Грек по рождению, но Кубанец по предкам на Кубани, видимо еще тогда, когда и не было Кубанского Войска. Скончил Екатеринодарское реальное училище и стал офицером во время войны. Он так чисто и красиво говорил по-черноморски, как на природном своем языке. Анекдоты и остроумие его были исключительны. Это был природный комик и имитатор. Выше среднего роста, стройный, в высокой черной папахе, с наклеенной бородой - он исключительно тонко изобразил собою Шамиля. Как человек хорошо воспитанный и грамотный - он умно, тонко передал образ того, кого изображал.

Кстати сказать - несмотря что он по крови грек - был светлый блондин с рыжеватым оттенком волос и только сочные губы, правильный профиль лица и широкие глаза темного цвета - выдавали в нем не славянское происхождение. Он нам всем нравился своею беззаботностью, добротой и товариществом.

И вот, когда Шамиль пропел несколько стихов - тихо, медленно вступал весь хор - "там-там-там-там" и постепенно учащая темп - перешел в азарт.

Первым в танец выбросился войсковой старшина Семейкин, потом черкес-корнет Махмуд Беданков, генерал Хоранов. За ними, неожиданно, из-за кулис, выпорхнули мы, пара, во всем белом. Зала гремела от аплодисментов. Лезгинку пришлось повторить еще два раза.



Выступление нашего Кубанского хора с апофеозом лезгинки, имел исключительный успех. Кроме того, что подобное пение казачьяго фольклора и танца бурной кавказской лезгинки были неведомы здесь - все мы, участники концерта, были в повышенном настроении, что бы показать жанр пения и танца того Края и народа, к которому мы принадлежали. К тому же мы знали, что наше выступление может быть "последним" в нашей общей жизни, а дальше... а что будет дальше с нами - мы не знали. И если говорить "О последней лебединой песне" Кубанской армии, оставленной на берегу Чорнаго моря у Адлера в средних числах апреля месяца 1920-го года - то с наболевшей душою ее выполнила главное ядро Кубанских офицеров Армии, волею судьбы заброшенное в горный Урал.

После нас выступала какая-то балерина Императорского театра. На сцену выпорхнула красивая полуобнаженная стройная молодая женщина, что-то танцевала классическое, выдающееся по исполнению в технике. Зала искренне шумно приветствовала конец ее танца, вызывая на повторение. Она вновь "выпорхнула" только что-бы мило, божественно, поблагодарить публику за сердечную оценку, но повторить танец отказалась. Колчаковские офицеры говорили потом, что она, вообще, отказалась выступать, но ей пригрозили арестом... и она выступила. Мутная ирония в красной России.

Моя ученица уехала домой. Начался бал. Им руководили некоторые из Колчаковских офицеров, имея голубые банты на груди. Многие из них были одеты в хорошие гимнастерки и брюки защитного цвета, что нас удивило. Было десятка два местных дам. Кто они - мы не знали. Местной красной власти как будто не было. Черистов "в дахах" не было. Были какие-то в штатских костюмах. Многие колчаковцы танцевали с дамами и веселились так, словно по мирному времени. Сиротами и чужими здесь людьми были только мы, Кубанские и Донские офицеры, числом чуть больше ста человек.

Как ни странно казалось бы, но мы, южные казаки, в северной России, были словно иностранцы. Мы отличались от местных жителей не только что некоторой смуглостью лиц, выражением своих лиц, но и походкою, манерами и психологией. Мы отличались психологией и от Колчаковских офицеров, таких же пленников как и мы, получивших такое же военное образование как и мы. Дело в том, что большинство из них были уроженцами средней Волги, или около этого района. И они, находясь в плену у красных, были, как-бы, у себя дома. А мы... мы были от своих станиц, буквально, за тридевять земель и все здесь для нас было чуждо.

Так вот и здесь, "на выпускном балу"... когда многие Колчаковцы веселились, мы, Кубанские и Донские офицеры, "послониавшись" без дела по углам залы, и получив какое то "положенное" сладкое блюдо - с пустою душою вернулись в свой Харитоновский дом, находившийся почти по-соседству с театром имени Менделеева.

Чужие... чужие мы были в стране своей - можно было о нас так сказать. Мы сосланные, безправные, поднадзорные в ней, в России красной, над которыми всегда висел "мечь смерти"... В особенности чужими и сиротливыми чувствовали себя офицеры Донского Войска. Оба гвардейца-артиллериста, окончив курсы в Москве, были назначены куда-то по артиллерии. Осталось девять. В заточении Епархиального училища, они разместились в одной камере с нашей "группой молодежи", в которой, кроме 45-летнего генерала Хоранова, самым старшим штаб-офицером, было не свыше 35-ти лет, а молодым - от 28-ми. Этого возраста были и донцы. Исключительная скученность на нарах с узкими проходками, холод, грязь, голод - братали нас. Сутками лежали на нарах в своих логовищах и... говорили, говорили обо всем. Они "Красновцы". Атаман Краснов - их бог. Генерал Мамантов - величественный герой. Они горды этими генералами. Тихий Дон - их государство. Вне его жить и служить - не вмещается в их понятия. У них была своеобразная Войсковая гордость, о которой



они не говорили, что бы не расплескать свое святое святых. Красных они ненавидели как чужеродный элемент. Между собою жили очень дружно и чуть замкнуто от нас, кубанцев. Осознавая в душе признанное всеми казаками имя "старшего брата" - их было очень мало перед нами кубанцами, что бы иметь главенство в чем-либо в нашей жизни. Но всему, что творилось на курсах - они относились иронически. И, даже, наш концерт интересовал их постольку, что бы и еще раз послушать песни Кубанских казаков, с которыми они так подружили. А после него - все та-же серая жизнь и неведение завтрашнего дня. Мы все, донцы и кубанцы, были пленцы из разоренного Казачьяго гнезда и выброшенные в полную неизвестность...

## РАСПЫЛЕНИЕ . . .

Курсы закрылись в середине декабря. Вернее, они были закрыты еще в Москве, в середине октября. Какая-то радостная искорочка предстоящей "свободы" радовала нас, но какая она будет - никто не знал.

Нам объявили, что война с Польшей окончена; в красную армию нас не поставят, а назначат на гражданские должности и по специальностям полученного образования. Раздали короткия анкеты, в которых каждый должен указать - "на что способен и по какой специальности хочет получить место?"

Какая может быть "специальность" у строевого офицера? - думали мы. Это поставило нас в тупик. Все-же написали "кто на что способен". Брат написал, что он "техник по образованию, а я - "спортсмен по гимнастике". Всех нас было пятьсот человек и всем надо дать службу. И вот - началось.

В разные учреждения Урал-Округа, в канцелярии, требовались опытные люди в письмоводстве. В наш Харитоньевский дом приезжают председатели многочисленных учреждений Уральского Округа, вызывают по фамилиям, знакомятся и тут-же забирают к себе. Было бы весело, если бы не было так грустно расставаться с долгими сослуживцами и друзьями, так сжившимися в неволе, теперь расставаясь и выезжая в полную неизвестность...

Как долгие и опытные адъютанты, были вызваны наши старые Кавказцы-полковники Михаил Иванович Удовенко и Иван Никифорович Гридин, получив должности главных секретарей в каких-то заводских учреждениях. Через несколько дней, к нам пришел Удовенко и рассказал о запущенности в его канцелярии, которую он сразу привел в порядок и уже получил благодарность директора.

Донского Войска подесаул Карнаухов, умняга, бывший станичный учитель, получил должность секретаря Окружного здравоохранения. Глава ее, женщина с высшим образованием /как и ее муж/ местная еврейка, имела богатую алтеку и что бы сохранить ее - записалась в партию. Так и поведала Карнаухову, передав ему, даже, и печать своего учреждения.

Курьезов было много. Вдруг заходит к нам генерал Георгий Яковлевич Косинов, всегда бодрый, всегда чисто выбритый и всегда в неизменной своей длинной офицерской шинели защитного цвета и в крупной папаше черного курпоя - и громко, весело, еще не поздоровавшись ни с кем - выкрикивает:

"Господа-а!... а я назначен в чина жандармом!... снимаю мешочников с поездов!"...

Любя и уважая этого маститого, сердечного, широкого по натуре генерала-казака, признанную красу Кубани - мы весело расхохотались. Смеется и он, и тут-же хвастается, что он "никого не снимает, а пропускает несчастных крестьян с их мешками". /Скоро все старики будут отпущены на Кубань и в 30-х годах, Косинов, бурная натура, будет разстрелян в Ростове./



## "ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ" С БРАТОМ...

Как техника по образованию - его назначили на Итвинский завод, находящийся под Пермью. Это было неприятно. Он командирован туда совершенно один из нашей Кубанской и Донской группы. Человек исключительной доброты, душа общества, которому так были необходимы рядом близкие ему люди - он единственный из нас отрывался от нас и уезжал в такую даль от Екатеринбурга. И он и я - взгрустнули сильно. Предстоящая разлука сковала наши мысли и мы не находили слов к разговору. Сердце вещун никогда не ошибается. Не ошиблось оно и здесь.

День разлуки настал. Его поезд в Пермь отходит часов в 10 вечера. Все остающиеся в Екатеринбурге окружили "Андрей Ивановича", как называли его все. Хотели сказать, его очень полюбили и Донские офицеры. Все шутили, острили, желали ему счастливого пути. Брат улыбался, отвечал им на шутки, но я видел как тяжело ему было расставаться со всеми нами и в особенности со мною. Его веселость была напускная. Я хорошо это видел, и в его добрых глазах и в его, слегка, перекошенном страдальнической гримасой лице. Я молчал и глубоко переживал эту разлуку. Сердце тосковало. Оно было право. Мы расставались против нашего желания и, может быть, очень и очень на долго... И, как оказалось, мы расстались навсегда...

Брат, грустно неловко распрощавшись со всеми за руку - подошел ко мне, к последнему. Подошел и остановился, боясь произнести слово "прощай". Боялся этого слова и я. Да и при всех я не хотел прощаться со старшим своим братом, к которому надо проявить ласку, нежность младшего.

"Я тебя провожу, Андрюша", говорю ему и мы вышли из дворца-казармы, прошли двор, вышли на улицу и остановились молча.

Стояли сильнейшие декабрьские морозы. А в тот вечер, как нарочно, шла сильнейшая сибирская пурга. Все крутило, завывало, морозило кругом и без того морозный горный Урал. Через десять шагов уже не видно было человеческой фигурн. Я вышел в своем Хорановском летнем кашмировом бешметике чуть выше колен и в маленькой шапченке. Брат был одет в кургузый овчинный полушубок, в папахе, имея на плечах грубый серый строевой башлык. На сгибе локтя висело его самодельное ведро-цыбарка из жести, в которую был сложен весь его багаж. На улице пурга резко ударила нам в лица, пошла под полы одежды и во все щели наших невзрачных костюмов. Мы стояли. Говорить было не о чем. Все, ведь, было переговорено и на душе образовался какой-то комок грусти, не позволявший говорить... Это всегда бывает так, когда расстаешься с дорогими для тебя существами, уезжающими, уходящими куда-то далеко, в неизвестность...

Брат, от неловкости молчания, словно желая продлить "час разлуки" - стал неловко, и очень медлительно, завязывать свой башлык поверх папахи. У него это получалось очень неловко. Он завязывал башлык, потом развязывал концы его, будто поправляя их и мы молчали. Ведро-цыбарка, как ценная валюта для обмена на хлеб у крестьян, стояло тут-же в снегу и... ждало. Наконец, брат, видимо, дошел до того понятия, что надо прощаться. Неловко, запутываясь в словах, он произнес:

"Ну... до-свидания Федя"... и взяв меня за руку, обнял и неловко поцеловал в губы. Его усы обледенели и я почувствовал холодную влагу и усов и губ. Разнявшись после об-ятия, он медленно взял ведро, положил его дужкою в изгиб локтя, стал вновь поправлять свой башлык грубого сукна завязанный позади шеи, вздернул несколько раз головою, прилаживая башлык на шею и вновь повторил: - "Ну... до-свидания Федя" - протянул мне руку.

"До-свидания, Андрюша"... замогильным голосом ответил я ему.



Он освободил мою руку от пожатия, как-то вновь очень неловко повернулся "заездом" кругом и не смело шагнул вперед...

Спусти по Воздвиженскому Проспекту и вокзалу, отстоявшему от Харитоновского дома верстах в 2-х, начинался сразу-же и очень круто. Что-бы не поскользнуться по мерзлой дорожке, запурженной снегом, брат тронулся мелкими шажками, резко стуча по ней своими мерзлыми сапогами. Этот стук сапог очень четко воспринимался в моей груди и мозгах.

"Смотри не упади, Андрюша!" крикнул ему вслед.

"Ни-чи-во... иди домой, Федя... а то тебе холодно" - полуобернувшись, из ночной пурги, ответил мне он. Это были его последние слова ко мне...

Но я не ушел. Я стоял у ворот на тротуаре, и следил, пока темная фигура нашего старшего брата, совершенно скрылась внизу, в пурге, в ночи...

Хотелось и еще стоять и смотреть вслед туда, куда скрылся так скоро от меня мой дорогой и любимый старший брат, Войсковой Старшина родного Войска и родного кровного 1-го Кавказского полка, нашего прадедовского полка. Но это было совершенно бесполезно. Пурга заволокла все кругом и через улицу, даже не видны были дома противоположной стороны. Я проиизал еще раз глазами печально ночную пургу, чем послал последнее приветствие удаляющемуся брату и быстро вошел во двор. Это было 15 декабря 1920 года. С тех пор я его больше уж не видел на этом свете. Где, когда, при каких обстоятельствах он погиб в красной России при нашей "одиссее" по ней - мне до сих пор неизвестно.

Это было наше с братом - "ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ!". . . .

Жуткая трагедия. Но мы тогда с ним еще не знали, что в Таврии, в июле месяце этого-же года, в бою, в Корниловском конном полку, погиб наш меньший брат Георгий, есаул, в 24 года от рождения. Смертельно раненый в шею, потерявший возможность говорить - он написал записку есаулу Н.И. Бородинчуеву передать нам, так-же сослуживцам Бородинчуева, что он "умирает.. и никогда уже нас не увидит"...

Не знали мы с братом и то, что у нашей Надюши, уж несколько месяцев идет трагедия... О ней потом.

Кому поведаю печаль свою, не излечимой и долгим временем?!.....

## РАСПИЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Регент нашего Кубанского хора, капитан 4-го Кубанского пластунского батальона, так хорошо зарекомендовавший себя как знаток хорового пения /он окончил консерваторию/ - телеграфно был вызван в Москву и немедленно выехал туда. Его фамилия Замула. Он из Анапы.

В Екатеринбурге существовал "совет меньшинств инородцев" при Уральском округе. У них были свои собрания по вопросам о своих народах. Туда был приглашен и генерал Хоранов, как юрист по образованию. И вот, по ходатайству этого "совета меньшинств" перед Москвою - всех горцев Кавказа сосланных сюда, отправили в Москву для назначения на службу в свои области. С ними выехал генерал Хоранов, корнет-черкес Махмуд Беданокоев, который возглавил при сдаче Черкесскую конную дивизию и другой прапорщик-черкес, что был с нами.

Когда мы были зачислены в Москве на курсы, то к корнету Беданокоеву был приставлен комиссаром турок-коммунист, который не отлучался от него. А для чего - не знал и Беданокоев. Последнего я хорошо знал по нашей 1-й Конной дивизии в Закубанье, которой тогда командовал генерал Врангель. Беданокоев мне жаловался, что этот турок-коммунист, человек не интеллигентный, его стесняет, но отвязаться от него невозможно. В штатском черном



костюме рабочего - он бросал на нас неприязненно свои черные глаза. И ни он с нами, ни мы с ним - никогда не разговаривали.

Командир 1-го Кавказского полка, полковник Владимир Николаевич Хоменко, как знаток лошади - был назначен на какую-то должность по коневодству Уральского Округа. Женатый на Черниговской помещице - он имел за нею 400 десятин земли и выйдя в резерв "по Войску" - успешно и любовно занимался хозяйством и коневодством, о чем и рассказывал нам.

Полковник Евсюков, командир Линейной бригады, назначен в санитарную летучку, которая отправлялась в Крым. Мы ему позавидовали, что он будет работать и жить рядом с Кубанью. Назначение остальных кубанцев - не знаю.

Как-то на улице встретили полковника Михаил Ивановича Земцева, бывшего начальника 4-й Кубанской казачьей дивизии. В длинной серой шубе-черкесске, в крупной черной папахе, в бороде, подстриженной по-черкесски - своим внешним видом он являлся анахронизмом здесь. Он только что вышел со службы из штаба военного округа Урала, куда был назначен еще в Москве. Мы окружили его.

"Какая у Вас служба, Михаил Иванович?" - задал кто-то вопрос.

"Обыкновенная как офицера генерального штаба", ответил он спокойно. Погибнет и он потом, этот мягкий прятный полковник Кубанского Войска старого закала, бывший командир 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского Войска в Великой войне 1914-17г. на Кавказском фронте, в Персии.

Прибыл к нам "Главный начальник спорта Уральского Округа", некто, по фамилии, Кальпус. Он вызвал меня и полковника-донца Владимира Николаевича Богаевского. Богаевский выпуска Новочеркасского казачьяго училища 1910 года. Вышел хорунжим в 10-й Донской полк. В мирное время окончил в Варшаве Окружные гимнастическо-фехтовальные курсы, что и указал в своей анкете. Кальпус, в длинной шинеле; на поясе крупный револьвер в желтой кожаной кобуре; на голове "чортов шишак" с большой красной суконной звездой спереди. Вид настоящего чекиста. Он заметил, что мы с Богаевским были смущены его видом... Здоровается с нами "за руку" и сразу-же говорит, что он бывший прапорщик мирного времени; служил в Оренбурге; знает хорошо атамана Дутова, когда он был еще есаулом и помощником инспектора классов Оренбургского казачьяго военного училища. У него родной меньший брат штабс-напитан Колчаковской армии, которого он спас и сейчас служит у него как инструктор-гиревик.

"Хотите поступить к нам инструкторами на курсы допризывников по гимнастике и фехтованию на эскадронах, полковники?" - весело спрашивает он.

"Я коммунист... но первым делом - я спортсмен. Прошу Вашего согласия. У нас Вам будет хорошо", уговаривает он нас. Своей веселостью и откровенностью - он подкупил нас. Мы оба дали согласие.

Дальше он поясняет, что "курсы допризывников" находятся в большом селении Колчедан, в ста верстах восточнее Екатеринбурга. За нами придет начальник курсов "товарищ Плюм". Он бывший студент, очень интеллигентный человек, большой спортсмен и... безпартийный.

Разстались. А на второй день прибыл в наш Харитоновский дом "товарищ Плюм".

Молодой человек не старше 25-ти лет, выше среднего роста, стройный, приятный, с хорошими манерами, с подкупающей улыбкой своего благородного свежего лица и голубых бездонных глаз северного народа. Он эстонец, но студент Петрограда, где у него живут мать-вдова и сестра. Он в шинели и в фуражке и безо-всяких "красных отличий" на них. Он знал - кто мы.

"Я безпартийный. И, даже, ненавижу коммунистов. Вам у меня будет житься хорошо. Я помогу Вам всем, чем смогу. Прошу мне верить", закончил он.



## ПО ДОРОГЕ В КОЛЧЕДАН.

Нас с Богаевским он поместил в "советскую гостиницу", а через два дня прибыл за нами. Мы едем в товарном вагоне. По дороге "товарищ Плюм" рассказывает нам, что при наступлении армии генерала Юденича - он с матерью и сестрой жил в Петрограде. Все ждали Юденича с нетерпением и вдруг - отступление. Он до сих пор не может понять - что же случилось?! Юденич занял уже Гатчину ведь!.. Хотелось вернуться на родину, в Ригу. Все его родственники там. А родной дядя, министром в новой республике. Но его не отпускают, дорожат как спортсменом. Он "на ты и за-руку" с самим Подвойским, главой спорта в красной России, почему и "забронирован" от разных неприятностей. В правительстве Уральского Округа у него много друзей-коммунистов, которые удивляются - почему он до сих пор не в партии? Говорит он искренне, хорошим литературным языком, слегка картавя, не ясно выговаривая букву "р".

"Как Вас называть надо?", спрашивает Богаевский, не любящий, как я потом убедился, разных церемоний.

"Называйте меня просто по-имени - "Роберт"... а по службе, если придется - "товарищ начальник" - ответил он. Но мы его всегда называли потом по имени и отчеству - Роберт Иванович.

Наш поезд двигается черепишным шагом. Ветка кончается в г. Шадринске. На Колчедан, пересадка на станции Синерской. Мы на ней. Она маленькая и полна народу. Из вагонов - все ввалились в единственное помещение этого вокзальчика - с узлами, с мешками, с чайниками. Войдя - сидели на пол, ложились, ели, пили чай, ругались злостно, пели песни.

"По Дону гуляет.. по Дону гуляет!"

"По Дон-ну гул-ляет, казан мал-ладо-ой!.. вдруг слышим мы стройное пение смешаной молодежи.

"Ого-о?... нас вспоминают даже и здесь" - острит Богаевский и самодовольно улыбается.

Доволен и я... и доволен потому, что в такой дали от Дона, несмотря на всю контр-революционность Донского казачества, парни и девки так любовно поют эту донскую песню старых времен, не боясь никого.

Я рассматриваю всю эту "одношерстную" крестьянскую толпу людей, заполнивших весь вокзал, коридоры, проходы, столы... Среди нея нет ни одного интеллигентного лица. Все безцветные блондины, все в казенных солдатских шинелях, в валенках, в треухах - даже и женщины. Все грузно небрежно сидят, или лежат, или пьют чай. Сплошная серость... А может быть и не так?... Может быть многие "скрываются" под серую свою красноармейскую шинель?... Как скрываемся и мы с Богаевским, два казачьих полковника! Вот и наш, безусловно, очень интеллигентный благородный и гордый Роберт Иванович - и он издали кажется "увальнем-солдатом" и вообще - "советским человеком". А на самом деле - настоящий европеец и так хорошо воспитан.

Недалеко от нас едят что то и пьют чай четыре здоровенных матроса. Они с винтовками. Едят грубо, разговаривают громко, хохочат по-лошадиному. Поели. Один из них, высокий, рыжий - затянул песню громко, нахально, по-кабацкому. Публика притихла и слушает. А он, окрыленный этим, еще больше заржал в своей пахабной песне с размахами руками и хулиганскими телодвижениями. Хозяин буфета подходит и говорит ему, что здесь, в вокзале, так громко петь не разрешается... здесь люди ждут поезда, отдыхают и им может быть это неприятно.

"Что-о?... нельзя пе-еть?... нам!... матрос-сам?!... Да мы-н!... да мы революцию для этава сделали, што-бы дать всем свободу! И вот - нельзя петь?"



- вскочив со стула, "возмущенно-вдохновенно" выпалил он это. Все молчат и слушают полуробко этот диалог, а мы с Богаевским - слушаем с любопытством, гадая - чем все это закончится? Наш Роберт Иванович молчит.

"А ты кто такой?.. Я хочу и буду петь!" - рычит рыжий матрос.

"Тогда, товарищ, я должен заявить в станционную "ге-пе-у", скромно отвечает ему буфетчик.

"Иди!... заявляй!.. а мы никак ни боимся. Мы Балтийские матросы.. Мы были на самой "Авроре"! - рубит рыжий.

"Тогда не обижайтесь... я пойду" - вежливо отвечает буфетчик и - ушел. Минут через пять приходит начальник "Г.П.У." в подбористой шинели, в поясе, при револьвере, в шлеме со звездой. Он заговорил с матросом также вежливо, сказав, что буфетчик прав... вокзал служит для отдыха людей, ожидающих поезда.

"Мы Балтийские матрос-сы!.. мы с Авроры!.. едем к себе в отпуск... и нельзя играть песни, когда/когда/ хочешь?" - начал вызывающе все тот же рыжий матрос-детина, но начальник Г.П.У. опять очень вежливо его остановил и сказал, что - "революция окончилась... теперь идет строительство... и надо считаться со всеми гражданами" и вообще - он запрещает хулиганить здесь, и если они его не послушаются - он их обезоружит и отправит для разбора дела "в чека"....

Услышав это - матросы сразу-же присмирели. Рыжий еще что-то крутил головой, но его товарищи дружески успокоили, обещав начальнику "ге-пе-у" больше этого не повторить.

Начальник ушел. В зале стало сразу тихо. Матросы так-же тихо заговорили между собой явно, оплеванные перед всеми.

"Сволочи.... привыкли своевольничать... много их перебили мы на фронте... и еще вот остались... но, кажется и им конец настал" - тихо говорит мне Богаевский. Роберт Иванович улыбается, слыша слова Богаевского, и очень рад, что этих нахалов остановили.

#### НА НОВОМ МЕСТЕ, В СЕЛЕ КОЛЧЕДАНА.

Мы в Колчедане. Это очень большое и богатое волостное село. В нем, в центре - большая кирпичная школа. Против - громадный женский монастырь с широким двором, в котором прочные деревянные постройки. Все в монастыре построено добротно, продуманно, богато и по-хозяйски. В монастыре и помещались курсы, имевшие название: -

"Уральские окружные спортивные курсы допризывников".

Начальник курсов, Роберт Иванович Плям, сразу-же поставил нас в солидно-приятное положение. На второй день, собрав всех своих инструкторов и строевых начальников - представил всем как "инструкторов спорта", пояснив, что оба "полковники Белой армии". От последних слов, мы немного смущались, но услышав это, все крепко жали руки, глядя нам прямо в глаза, кроме двух-трех человек, пожавши руки молча. То были коммунисты, ротные командиры из унтер-офицеров.

-курсанты-

Кроме Пляма, все инструктора и молодежь живут по крестьянским хатам в Колчедане и в ближайших селах, в 2-3-х верстах от Колчедана. Нас вселили в село Соколовку, через речку на юг, у крестьянина Дмитрий Александровича Русанова. Когда нас ввели к нему "в избу" - он обедал с семейством.

"Вот Вам квартиранты", сказал ему проводник наш. Хозяин безразлично посмотрел на нас, вытер рукой рот, проглотил то, что было во рту и ответил не торопясь:

"Ну, что-ж.. коль в избе поместимся, то валяй... спать будут на земле..."



... а свою постелю не уступлю" - сказал, повернулся к столу и продолжал есть.

За столом сидит его рыжая жена, две дочери-невесты и мальчик лет 12-ти который умными глазами с любопытством рассматривает нас. Изба крестьянина Русанова считается одной из лучших в этом маленьком селе. Она чистая и светлая, но состоит только из одной комнаты. Сам он с женой, Лушей, спит на деревянной кровати, а дети - или на печке или на каком то ложе возле нея. В избе русская печь у самой двери. Мы ободрили хозяина в своей неприхотливости, будем спать на полу, только бы он дал нам соломы и какое-нибудь рядом поперх.

Наш проводник ушел и мы остались с глазу-на-глаз с хозяином. После некоторого молчания, хозяин спросил нас:

"А откуда вы будете?"

Ответили ему, что - "издалека... с юга России". Но это его не удовлетворило. Он юга не знает, и продолжил:

"Есть адна Расея... а иде юх/юг/, а иде север - ета усё рамно/равно/. Адна страна" - закрячил он.

Его ответ нам понравился, но смотрит на нас он недружелюбно и как-будто "фыркает" от неудовольствия, что вселили к нему.

"Да вы чего?" говорит ему Богаевский, "будто бы недовольны, что нас к вам прислали?... Мы, ведь, не сами пришли!"

"Ана, канешна... а все-же, грябу иво мать, Вас тут будет до пропасти красных!... а ты, крестьянин, все дай, ды дай!" - зло отвечает он. Нам это особенно понравилось. Мы теперь поняли - "кто он".

"Да вы не беспокойтесь, хозяин. Мы белые офицеры... пленники... и сюда нас сильно прислали", говорит Богаевский.

"Бел-ные?... значить Колчаковцы?" - радостно спрашивает он. "А сам у Колчана служил!... и вот, вернулся зря в село... но Колчак придет иш-шо! мы их всех тут живьем спалим" - уж совершенно откровенно выпалил он и повернулся к нам всею своею грудью. Услышав все это, мы сказали точно - кто мы. И подружился с ним крепко, добротнo, искренне.

"Как Вас зовут?" - спрашиваем, что бы ближе сойтис с ним.

"В селе зовут Ляксандрович... а мая имя Митрий", поясняет. Он высокий, сухой, жилистый мужик, со светло-рыжей бородой. Ему под 40 лет. Он женат вторично. Жена Луша пришла со своим сыном Васюкою, но он хотя и чужой, но любит его как своего сына и Васюк называет его "Батяня". От первой жены две дочери. Варя посвятила себя монашеству, а Мархвунья - та хочет выйти замуж. Все они тут-же слушают молча своего отца а Мархвунья лукаво улыбается в свое пухленькое рыжее с веснушками лицо. Ей 16 лет. Отец жалуется нам, когда она идет в церковь, то "одевает под низ все матернии юпки, штобы жанихов завлекать". Мы смеемся, смеется и Мархвунья и не смущена этим, а как бы даже гордится, что речь идет о ней. Скоро мы узнали, что "хозяин в доме, есть Луша" и наш Ляксандрович ее любит и слушается, но только того, что касается в избе.

На ночь нам щедро наслали соломы на полу, накрыли каким-то рядом, хозяева поделились своим подушками и мы, почти что беззаботно впервые заснули в крестьянской хате, в этом милом простом крестьянском семействе.

#### СОСТАВ СПОРТИВНЫХ КУРСОВ.

Ни организацией курсов, ни его составом - мы не интересовались. Понятие о них сложилось уж потом. Моя личная цель была "дождь гься весны, спада снега и... бежать. Бежать за границу, в Финляндию, как ближайшей Страны от сих мест". И все-же мы узнали, что весь состав курсов представляет собою спортивную полу-военную организацию, "батальон" до четырех сот молодежи, в которой входят два взвода сельских учителей и учительниц, которые, пройдя курс - должны преподавать гимнастику своим детям в школах.



У начальника курсов, Роберт Иванович Плюм, два помощника по административной части, Николай Андреевич Русинов из г. Вятки и Николай Дмитриевич Науров из г. Ярославля. Оба бывшие студенты, оба очень хороших фамилий, по революционному безвременью, не могущие продолжать свое образование.

Адъютантом курсов, Георгий Федорович Тарунин, из г. Костромы. Окончив гимназию в своем городе во время Великой войны - был принят в Армию на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, в артиллерию, на Кавказский фронт и в свой город вернулся уж при большевиках. Умный, активный, с военной жилкой. Все эти три непосредственные помощники Плюма, как и сам Плюм, были не только что не партийные - были русскими патриотами и к нам, двум Казачьим полковникам Белой армии далекаго от них юга, отнеслись исключительно внимательно. Мы все, прокто, подружили между собою.

Во главе баталиона стоял бывший поручик Блинов, из г. Вятки. Ему было лет 25. Добрый, приятный видом, видимо из учителей, не партийный. Он был учтив с нами, как с кадровыми офицерами Императорской армии, попавшими в такое ложное положение.

Баталион разбит был на две, или три роты. Нас это не интересовало. Ротными командирами были бывшие унтер-офицеры ближайших сел, партийные, с которыми мы совершенно не общались как инструктора только спорта. Все инструкторы числились "людьми штатскими", имели свои часы преподавания в гимнастических залах и подчинялись только начальнику курсов. У этих командиров рот, как людей партийных и не интеллигентных - совершенно не было никакого общения с администрацией курсов, кроме как по службе. Это было два разных мира, недоверяющим один другому. Вся администрация, Роберт, его два канцелярских помощника и адъютант - были между собою на "ты", были очень дружны и при нас с Богаевским вели самые не ринужденные разговоры о красной власти, критикуя ее.

Коммиссаром курсов был бывший студент из Екатеринбурга, высокий стройный молодой человек с красивыми печальными глазами. Мы заметили, что он избегал встречу с нами и видели его только мельком. Из города, в гости к нему, приехала сестра-курсистка, стройная красивая девушка. Здесь он пригласил нас на чай, познакомились и он рассказал "свою историю": - "Отец офицер, погиб на войне... средств к жизни у матери-вдовы нет... сестре надо уиться... что-бы обезпечить жизнь матери и учение сестры - он записался в партию". Просил его понять, почему он избегал встречи с нами. Сестра слушала молча. Что случилось потом, мы не знали, но он был снят с должности очень скоро, куда-то уехал и назначен коммиссаром курсов поляк - маленькаго роста, сухой, замкнутый, нелюдимый. Такова была и его жена. Впрочем, мы его почти и не видели на курсах.

При нашем приезде, инструкторами были: - по гимнастике - Геннадий Владимирович Локтионов из г. Вятки, сын какого-то ученаго. Окончив реалльное училище, он "пристроился" сюда, как сказал мне, что бы иметь время для подготовки вступления в университет. При нем учебники и он все свободное время и в гимнастическом зале - занимался по ним.

Вторым инструктором был Борис Владимирович Мушников. 3-м - Виталий Иванович Подтяжкин, из Верхне-Уральска Оренбургскаго Войска. Оба были молодые и окончили курсы здесь. У Подтяжкина, лицо и манеры чисто казачьи.

"Вы казак, Виталий?" - спросил как-то его интимно.

"Мать казачка", смущенно ответил он. Я не стал уже уточнять его происхождения, но видел, что он был казак Оренбургскаго Войска. Так судьба, заставляет людей кривить своей душой.

По гирям и гантелям был штабс-капитан артиллерии Колчаковской армии Евгений Кальпус, родной брат главы спорта всего Уральскаго округа, прапорщика-коммуниста Кальпуса. Это был настоящий красавец-Аполлон, добряк, которого все любили и называли только по-имени - "Женя". Родители их имели богатую аптеку в каком-то приволгском городе, и что бы ее спасти - брат



"записался в парию", как поведал нам этот Женя.

Инструкторами по французской борьбе были Иван Петрович Калинин, из Екатеринбурга, старый цирковой борец, добряк, цель которого была - привезя из города "кое-что" - обменять все у крестьян на муку, масло, яйца и содержать семью, проживающую в Екатеринбурге; вторым инструктором был Плюм, однофамилец Роберт Ивановича, одной с ним Страны в Прибалтике. Он преподавал и "бокс". Оба они были профессионалы по спорту с Калининным. Рядой, некрасивый - он был скромный и добрый человек.

Кроме спорта, допризывникам преподавали историю и географию России, арифметику и еще что-то. А что? - мы не интересовались. Инструкторов спорта, преподавателей и учебников нехватало. Начальник курсов выехал вновь в Екатеринбург и привез с собою:

1. Полковника Михаил Ивановича Дьячкова, бывшего знаменитого инструктора сокольской гимнастике в Тифлисе мирного времени. Во время гражданской войны он служил в Азербейджанской армии. В 1920-м или в 21-м году, когда красная армия заняла Азербейджанскую республику, он был арестован, сослан на один из островов около Баку, потом переведен в Москву, в Быховскую тюрьму, а оттуда был присоединен к нашей группы Кубанских офицеров.

Рассказывал потом: - на этом острове, около Баку, были некоторые офицеры Кубанского и Терского Войска. Среди них последний Атаман Моздонского Отдела Терского Войска, полковник Дмитрий Александрович Мигузов, который был и разстрелян вскорости с другими старшими казачьими офицерами.

К Истории нашего Войска, должен упомянуть это, т.к. он был командиром нашего 1-го Кавказского полка в Мерве с 1912-го года, с полком вышел на Кавказский фронт, который покинул в апреле 1916-го года.

2. Прибыло человек пять офицеров и военных чиновников Колчаковской армии для канцелярской работы и преподавания истории и географии. Среди них командир местного Шадринского пехотного полка Колчаковской армии полковник Головачев - выше среднего роста, широкий в плечах, подвижной в движениях, с прямым профилем крупного, бледного красивого, лица, с глубоко сидящими черными пронзительными глазами, выражающими его душевные страдания. Ему около 50-ти лет. Тюрьма его замучила. Он не ожидал, что его освободят. Он здешний командир полка, который "много жару дал красным", как сказал нам с Богаевским, почему и считал себя "обреченным на разстрел"...

И вот - освободили и дали место лектора для курсантов по воинским уставам.

"Но не верю я им!.. разстреляют!.. обязательно когда-то разстреляют меня... скрывать нечего... они отлично знают кем я был в Армии Адмирала Колчака" - печалился он нам и его острые глаза забегали в своих глубоких впадинах, словно ища спасения. Рассказав это, подчеркнул, что "рад освобождению... теперь хоть немного успокоиться жена, еще молодая и красивая женщина". И он будет скоро разстрелян. О нем, и о других - потом.

Урядник Лопатин "Богом молит" меня выручить их и устроить при курсах. Их пять человек станичников. Все бывшие опытные писарья. При нем и младший брат.

Р.И. Плюму рассказал все о них, насколько они будут полезны в его канцелярии. Добрый и благородный - он немедленно же выехал в Екатеринбург и всех привез с собою. Нас теперь здесь оказалось около 15-ти человек офицеров, чиновников и казаков Белых армии. Это было приятно. Казаки, все урядники, взяты из станиц. Одеты они были в гимнастерки, в черные шаровары с красным войсковым кантом, в папахах и в строевых овчинных шубах-кожухах. Поселили их в нашем-же селе Соколовка. С ними мы жили исключительно дружно, но... все это были только "этапы". Мечта казаков - вернуться на свою Кубань. Богаевский не имел планов. А же ждал только весны, что бы "исчезнуть из красной России"...



## КРЕСТЬЯНСКОЕ ГОРЕ.

Нашу мирную жизнь постигло чужое непоправимое горе. Жена хозяина, Луша, давно болеет какой-то женской болезнью. Ее надо оперировать. После долгих советов с родичами и соседями - решили отправить ее в Екатеринбург.

Распрощалась она со всеми по-христиански. Оделась по-праздничному, перекрестилась на иконы в хате, низко поклонилась мужу, нам, детям, обняла своего Васятку-сына и уехала. И вот, через несколько дней, привезли ее мертвою.

В гробу - мерзлое тело, желтое, спокойное, но так исхудалое. И совсем она непохожа на нашу плотную серьезную Лушу-хозяйку, которая, за резким правдивым словом - каждому просящему тут-же давала и кусок хлеба.

Васятка-сын здорово взревел, увидев "свою маманьку" в гробу. Муж сильно сокручинился, но не плакал, а только смахивал надоедливую слезу на глазах.

"Хоча и строгая была баба, но хозяйственная... я при ней о доме и не думал... все она знала, што надоть", делится со мною он своими горестными думами.

Лушу похоронили. И, как всегда водится у крестьян - начали делить ее добро. Митрий Ляксандрович взял ее вдовую. Брат умершего первого мужа считал, что: "все лоскуты, оставшиеся после Луши, принадлежат его дому... Да и Васятка должен вернуться к нему, к родному дяде, а Ляксандрович для него теперь чужой человек. Он же носит фамилию нашу!" - резонно заявил дядя при мне.

И наш добродушный, хотя и горячий, Митрий Ляксандрович - он с гордостью махнул рукою на все эти домогательства, и совершенно не вник, когда жена дяди, с родичами, вошла к нему в хату и стала перебрасывать из сундука вещи на две стороны - "что было справлено Лушей у них, и что после замужества с Митрием".

"Да ты чиво, Митрий Александрович, они-же могут и неправильно все разделить" - говорю ему. Он молча покрутил головою, махнул резко рукою и досадливо ответил:

"Луши нет, а ета... пушай хочь усе беруть!.. Вот жаль только Васятку!.. хороший парнишка.. и в хозяйстве уже может памагать"... Сказал, польз в карман штанов, достал свой засаленный кисет с махоркой и дрожащими руками стал крутить большую цыгарку.

Мне было так жаль этого доброго русского простолюдина, для которого жена, - "хоча и строгая была баба, но хозяйственная", как он выразился - считалось кладом.

"Разе дахтура будут лечить христианина?" - продолжает он. "Канешна - зарезали ее, Лушу-то!" со слезами на глазах говорит он. "И как я ей говорил - ни ижжай!... зарежут!... И вот - правда - з а р е з а л и"... закончил он.

Конечно, доктора ее не зарезали, но то, что делалось тогда в советских лазаретах, при недостатке хороших врачей и медикаментов - на серьезную операцию идти было рискованно.

## КРЕСТЬЯНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ...

"Ну, грябу иго мать... хрясть их мать дознаютца!.. вдруг говорит нам Ляксандрович поздно вечером, придя откуда-то, сев за стол и крутя цыгарку.

"Чиво?... кто дознается?" - переспрашивает его Богаевский, любитель иногда "разыграть" нашего хозяина.

"Да ани-и!... камунари" - коротко бросает он.



У крестьян было два класса дюдей - "они" - это коммунисты и, вообще - представители власти, и "мы" - это все православные крестьяне.

"Да чиво-же они недознаются?" - породолжает Богаевский.

"Да корову-то мы уже зарезали!... и уже разобрали ее" - бросает он.

"Какую корову?.. и "как разобрали?" - лопытываемся.

"Да ани, ляд им дать, вить запрашяють христьянам резать свой скот!.. все на учете... вот мы и чередуемся - рас /раз/ в нецелю, аль реже, каровку-то чью зарежем за селом, в лесу и мясо тут-жа разделим... а пьатом, через недельку - другуня, следушшаго христьянина... Иде карова? - спрашивает власть, а мы и говорим - "сбегла"... Хвать-мать, а мясо вже давно поели... и концы в воду" - самоцовойльно заканчивает он.

"А никто не выцаст?" - спрашиваем. А он только резко кивнул головою кудато вверх, и улыбувшись, ответил:

"На все село только один камунар... хто-ж донесет?"

"Ну, а вот мы... мы же чужие Вам люди/?!/. ... Ты сам, Митрий Лександрович, так смело все рассказываешь" - шутит Богаевский.

Он посмотрел на него с улыбкой, после глубокой затяжки густо пустил дым изо рта и с улыбкой ответил:

"Вы, Владимир Микалаич и ты Хведар Ваньч, свои люди... ахвицерн... мы знаем, што Вы ефтова ни сделаете".

- \* -

У нашего хозяина единственная рабочая кобыла. Других животных нет. Она ожеребилась. Я поздравил его "с приплодом".

..."Смеешься, Хведар Ваньч?" - с неудовольствием отвечает он. "Десять дней... и пьатом продам на мясо".

"Чиво десять дней?.. Кого продашь на мясо?"

"Да лошака!.. Подрстет за десять дней и продам на мясо. Иначе кобыла станет в работе вянуть "цабан"/железный плуг по-сибирски, Д.Е./

Через 10 дней он продал жеребенка какому-то мужику. Когда-же я спросил - почему он не использовал жеребенка себе на мясо - наш Митрий дико посмотрел на меня и недовольно произнес:

"Де што ты, Хведар Ваньч, за каво мне считаешь?.. штоя, татарин?.. Хорошо што мужик жеребенка из-за мяса своим собакам взял".

Я рассказал ему, как мы в Екатеринбургe варили суп из лошадиных ног, на что он ответил:

"То в городе... а мы - православные".

- \* -

Наш Митрий Лександрович, был отзвуком крестьян своего села.

"Ну, грядь иво мать!.. матюгами рыли могилу!" - зло выкрикнул он в одно из Воскресений, войдя в хату и сев за стол, что бы покурить.

"Какую могилу?... Кому?" - спрашивает Богаевский, предчувствуя "новую историю", происшедшую у нашего хозяина, который, как я указал, любил подшутить над неискушенным нашим хозяином.

"Да камунару!.. помер... аль слох... я и не знаю, как сказать. Ну и выслали нас мужиков, в Колчедан, рыть магилу яму /ему/... Да иш-шо иде?... на самой площ-шади... возли церкви!.. да иш-шо в Васкресенья!" - запальчиво произнес он эту тираду слов с особенной злостью. "Ну, мы и рыли ее, не лопатами, а матюгами, прости Господи. Но... нинадолго! Вытряхнем усе, как придет Колчак... у пух разобьем все! И потрясая головою, уж и не знал - как выразить всю злобу крестьян на красную власть. Я слушаю его и только радуюсь такому настроению крестьян, и уж не хочу разочаровывать его и крестьян, что адмирал Колчак растрелян красными, что бы не ослаблять "их надежды"...



Начал таять снег. Наша речка в Соколовке, отделяющая это село от Колчедана, сломав лед, поднялась водою. Через нее перекинут хрупкий мост на доморощенных сваях. Что-бы его не снесло в половодье - крестьяне ежегодно разбирают середину его. Переправа на другой берег идет только на местных маленьких лодках некоторых жителей. Приходилось и нам ждать "оказии", что бы идти на службу и после нея, возвращаясь домой.

В один из дней, вижу, как мужик отчаливает лодку от берега. Я бегу к нему и кричу:

"Дяденка-а!... постой!... перевези меня!"

Мужик с черной окладистой бородою лет под 40, зло посмотрел на меня и прорычал:

"Много Вас будет тут комунаров"... и отчалил от берега, совершенно не обращая внимания на меня. Что-бы воздействовать - я строго кричу ему. Это помогло. Он повернул лодку, толкнул ее багром к берегу, и вновь зло прогворил-прорычал:

"Ну, садись, садись... хочь одного камунара утоплю, грябу иво мать"/Эта фраза не считалась пошлою среди крестьян, а употреблялась как поговорка-присказка/.

Я быстро вскочил в лодку, сел, радуясь своему успеху, и спокойно спрашиваю:

"Дяденька... а откуда ты взял, што я коммунар?" Тот злыми глазами, искося, посмотрел на меня и буркнул: - "А куртка-то!?"

В те годы, в советской России, все партийные работники носили кожанья куртки и штаны, вобранные в сапоги, как наглядный знак принадлежности к коммунистической партии. Моя же тужурка, покроя френча, из Персии, меньшаго нашего брата Георгия, которую мне прислали сюда из станицы, как единственную теплую вещь. Она меня и подвела. Что бы успокоить этого, так приятнаго мне по политическим мотивам, мужика - ласково говорю ему:

"Ну, так Вы ошибаетесь, дяденька... я не комунар, а офицер Белой армии... и живу я у Митрия Александровича Русанова... может быть слышал?" - переходя на "ты". Он поворачивается ко мне всем телом, внимательно всматривается в мои глаза, испытывая-изучая - верить мне иль нет?

"Слышал... но только твоя тужурка таво... снял бы ее лучше от греха". И в течении трех-минутной переправы - он так "частил" советскую власть, как и придумать трудно. И он ждал возвращения Колчака.

"Все пойдем к нему! И уж не сдадимся"... рычал он. Я и ему не сказал, что адмирала Колчака давно нет в живых.

- • -

Во многих местах уже сошел снег. Становилось тепло. На песчаных площадках за селом было сухо. Я взял домой спортивное метательное копье для тренировки, одел спортивный костюм /короткие черные трусики выше колен, майка с короткими рукавами с открытой грудью и кожаные туфли, на манер наших чевяк/ и начал метание. Этот спорт мы проходили в лагерях в военном училище мирнаго времени. Но прошли годы, и надо было возстановить прежнее. Вечером, мой Ляксандрович, грустно говорит мне:

"Штой-то ты, Хведар Ваньч взял?... наши мужики тебе считали сурьезным человеком, а ты тоже, как "они"...

"Чиво "они" Митрий Александрович?" спрашиваю его, не поняв ничего с его слов.

"Ды, баловался.. бросал камышинку... а главная - в каких портках ты был?!" /т.е. - в каких штанах я был?... огорчились крестьяне/.

Я все понял. И должен был лишить себя этого очень интереснаго удовольствия, как метания копья. Я так полюбил этих крестьян, что совершенно не хотел их огорчать. Они такие наивные и не испорченные люди. И с ними мы не вышли победителями красной власти...



По весне, все курсанты и курсантки ходили по двору женского монастыря только в спортивных костюмах, кои я описал. На них крестьяне смотрели с презрением. В особенности на девиц, считая их "безстыдницами".

### ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ БОГАЕВСКИЙ.

Мы с ним очень подружились. Жили как братья. Он умный, рассудительный, огорченный судьбою - ко всему относился поверхностно. Как и писал - он окончил Новочеркасское военное училище в 1910-м году и вышел хорунжим в 10-й Донской казачий полк, стоявший в Заместье Привислянского Края. В Варшаве окончил Окружные гимнастическо-фехтовальные курсы в мирное время, но потом спортом не занимался и "жег" жизнь безшабашного офицера, о чем и рассказывал мне не раз о своих похождениях. Он моего роста, сухой, худой и на гимнастических снарядах - ослабел в номерах. Я стал замечать, что он подружился с писарем-урядником Иваном Голованенко и иногда, по Воскресеньям, куда-то отлучается с ним. Но это их дело. Но вот пришел ко мне старший из казаков, урядник Лопатин, мой сослуживец с 1913-го по 1918-й год в родном 1-м Кавказском полку, и с тревогой сообщил, что: - "Владимир Николаевич замышляет возстание против красных. Он с Иваном Голованенко каждое Воскресенье ездит в соседнее село на совещание с крестьянами, чтобы поднять возстание. Иван не умный казак, но бодрит полковника. Прошу Вас Федор Иванович принять меры и отговорить их обоих от этой затеи, иначе мы все погибнем здесь".

Выслушав всё, веря этому очень серьезному умному старому служаке, я вызвал своего друга на откровение. Он ничего не скрыл от меня, сказав - "секретные собрания бывают... в следующее Воскресенье их приглашают вновь; от меня же это скрыл, что бы самому убедиться - насколько это серьезно?"

"Каков Ваш план?" - задаю ему.

"Напасть на курсы, перебить коммунистов и забрать все оружие курсов, где, по сведениям, находится до 400 винтовок", отвечает он.

"А потом? - рублю ему.

"Потом?... Потом установить свою власть и ждать".

"Дорогой Владимир Николаевич!... на 2-й же день, сюда придут из Екатеринбурга красные бронепоезда и разобьют Вас в тот же день. Запомните, что крестьяне не пойдут в леса. У них семьи, хозяйства. Ну, а будут раненные - куда денете Вы их? Чем будете перевязывать? Заголосят бабы и мужики из своих сел никуда не пойдут! Я в это дело совершенно не верю и прошу оставить "заговор" как дело безнадежное", закончил я. Но он остался при своем мнении, обещав быть лишь осторожным и ждать весну. При этом, вдруг наивно заявил:

"А если нас разобьют - мы уйдем на Дон".

"Из Шадринского уезда Екатеринбургского Округа, с пешими крестьянами, через всю красную Россию, да на Дон?" - горько усмехнувшись, ответил ему, и просил посмотреть на географическую карту, где находимся мы и где Дон?

"Вас переловят как куропаток и перебьют", внушаю ему, но он остался при своем мнении. А спустя несколько дней, с Голованенко поселились у одного крестьянина. Я остался один у нашего доброго Митрий Александровича.

"Владимир-то Микалаич, наверное побрезговал маєю хваторою?" недовольно сказал он. А успокоил эту простую и неиспорченную христианскую душу, сказав, что тут у него тесно...

Урядник Иван Голованенко из писарей, выше средняго роста, подбористый, молодецкий, красивый был казак. Даже шегольски одет во все казачье в те месяцы. Ненавидя красную власть - он легко поддавался влиянию полковника Богаевского и оба погибли одновременно. О них потом, по ходу событий.



## СТАРШИЙ УНТЕР-ОФИЦЕР, ВАСИЛИЙ КАЛИСТРАТОВ.

Жизнь текла своим чередом. "Заговор" Богаевского мне совершенно не понравился. Он подставлял под удар многих. Я жил теперь один и стал скучать. Вопрос о своем бегстве становился для меня главной целью жизни. Но к нему надо было очень тонко подготовиться, все взвесить, и действовать только наверняка - жизнь, или смерть... если поймают.

На родной сестре нашего хозяина был женат старший унтер-офицер Великой войны, Василий Калистратов. О нем он говорил как о наилучшем мужике в селе.

Слово "мужик", в их понятии совершенно не был таковым, каковым понимается среди интеллигенции, городских жителей и нас казаков: По их, "мужик", это видный человек, мужчина, муж, мужественная личность.

"Ево давно все старики просят быть председателем сельского совета, но он не хочет. Пока советская власть - он не хочет ей служить" - так аттестовал своего зятя Митрий Александрович, добавив, что Василий хочет со мною познакомиться и поговорить. Я дал согласие и он пришел ко мне. Хорошо сбитый, бодрый, с усами фельдфебеля, без бороды, мужчина лет 35-ти. Участник Великой войны - с ним приятно было поговорить о многом, и о советской власти. Действительно - ненависть к красной власти, заполняет все его существо. Он с властью только борется. Сидел в тюрьме в Екатеринбурге, бежал оттуда и осторожно намекнул - почему я еще не убежал?..

Говорить об этом было опасно. Отвечаю ему о трудностях побега, но все вскользь.

Думаю, как умный человек, он знал о каких-то переговорах В.И. Богаевского с крестьянами соседних сел. Этого утаить было нельзя. Думаю, он не верил в успех восстания и предостерегал меня брошенной фразой:

"Кто хочет бежать, тот все равно убежит".

Такая простая фраза старого служаки дала мне веру в успех и я приступил к подготовке.

## НА РАЗВЕДКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Получив разрешение в отпуск на несколько дней в Екатеринбург - я там. В городе еще холодно. Он в гористой местности. Остановился у одного из своих, служащий секретарем в одном учреждении и имеющим довольно удобную комнату. Рассказал ему первому из всех о побеге, прося помощи устроить документ. Дал слово. Я доволен, свободен, посещаю старых друзей - в "одиссею" по красной России. Многие устроили на разные службы, но почти все старики еще не пристроены. Они живут бесплатно по разным советским государственным дрянным гостиницам и бесплатно питаются в дрянных городских харчевнях.

Посетил полковника В.Н. Хоменко, служащего при Государственном коневодстве. В канцелярии у них холодно, хотя и топится чугунная печь. Он похудел. На плите стоит большой чайник. Это чай "для всех". Тут же и его начальство, в шубах, в ушанках. Печально все. В селе лучше. Им здесь довольны и разрешили выписать жену с грудным ребенком.

Поведал мне, что из Крыма приехала сюда жена полковника Дударя, дал адрес гостиницы где она живет с мужем и я спешу туда, что бы повидать и поговорить с вестницей из нашего потонувшего мира, из Стана Белой Армии, которая, оставив Крым, уплыла куда-то в другие Страны. Точно об Армии генерала Брангеля, мы ничего не знали.



Перед Великой войной 1914 года, Иван Филиппович Дударь, был старым сотником 1-го Таманского полка. Полк стоял в селении Каши возле г. Асхабада Закаспийской области. С нашим полком, стоявшим в г. Мерве и 4-й Кубанской батареей, составляли Отдельную Закаспийскую казачью бригаду. В нее тогда входил и Туркменский конный дивизион, стоявший в Асхабаде.

Офицеры нашего полка говорили, что у сотника Дударя очень красивая жена. И вот, когда я вошел в их маленький номер дрянной советской гостиницы, что бы повидать однобригадца, с которым подружил, и его жену - увидел жуткую картину. Полковник лежал на узкой койке; есаул Костя Михайлопуло и хрупкая женщина, накинув на него шинель с головы до ног, навалились сверху и силой удерживали клокочущее тело Дударя, изо рта которого вырывалась белая отвратительная пена.

"Подождите немного, Федор Иванович, это скоро пройдет!" - быстро бросил в мою сторону Михайлопуло.

Я не знал, что полковник Дударь страдал хроническими припадками. Он, действительно, скоро отошел, был нормален и не помнит - что с ним было?

Познакомились. Жена его красива. Средняго роста, стройная, какая-то воздушная, с красивыми голубыми глазами. В ней было что-то ангельское. На ней хороший костюм, но сильно подержанный от времени. Разговорились. Муж, с полком отступал на Туапсе, а она выехала из Новороссийска в Крым, в полной надежде что и муж с полком будет переброшен туда. Узнав о капитуляции Кубанской армии, она осталась в Крыму, что бы найти мужа в красной России и быть с ним. И вот нашла. Но в каком виде!... Стройный мужественный блондин с открытым лицом, всегда спокойный - он неизлечимо болен. Работы нет. Денег нет. Они не знают - что их ждет впереди?... Разстроенный вышел от них, вместо желанной радости. Дальнейшая судьба их мне не известна.

В селе жить легче, спокойнее. Уже и здесь оттепель, но все служащие /в красной России все служат, Ф.Е./, будь то и женщины - в шинелях на распашку, в грязно-желтых интенданских сапогах, в ушанках с хвостами.

Что меня удивило, так это появление на улицах города Кубанских казаков. В черных своих станичных кожухах, в потрепанных черных папахах, с красным башлыками на плечах, или за плечами - они, словно умирающие мухи по осени, в одиночном порядке шли куда-то - мрачные смуглые небритые вымученные видом. Своим внешним видом они резко выделялись от местных людей. Явно, они ссыльные, несчастные. И я уже не подхожу к ним что бы познакомиться, поговорить о Кубани родной, что бы не разстраивать и себя и их. Я бегу из сих мест, бегу в чужую страну, так зачем мне разстраиваться из за того, что непоправимо?!

#### У Р.И. ПЛЮМА В ГОСТЯХ. НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК КУРСОВ.

-ную-

Вернулся из Енатеринбурга и узнал печальную новость: -Роберт Иванович Плюм отъезжает в Москву и сюда уже прибыл новый начальник курсов. Он бывший офицер, поручик, партийный. Одет в офицерскую защитного цвета шинель и в зимнюю фуражку одного из пехотных полков, видимо, в котором он служил. Выше средняго роста, подтянутый по-офицерски. Лицо бледное, сухое, без намека на улыбку. Все мы сразу же почувствовали, что дружеским взаимоотношениям и вольностям, которые были при Плюме, пришел конец.

Р.И. Плюм стал собираться к отъезду. До этого - он одевался просто, по-солдатски, безо всяких своих воинских отличий, а теперь мы видим у него на рукавах шинели "четыре квадрата" из красного сукна, что означало "начальника дивизии".

"Что с Вами Роберт Иванович? Почему столько нашивок?" - спрашиваем.



"А-а!..по должности, я приравнен к начальнику дивизии. Но меня это никогда не интересовало. А теперь, когда меня вызывают в Москву - я и оделся соответственно. Ведь я буду ехать в 1-м классе. Значит, надо держать факсон. А во 2-х - я, ведь, буду там ругаться, в Москве-то!.. ну, значить, надо одеть все свои знаки... для веса. А пока что, прошу Вас, господи, пожаловать сегодня вечером ко мне, на пельмени. Кроме "своих", никого не будет.

Он занимал две комнатки в одном из больших монастырских флигелей. Мы пришли с Богаевским. Действительно - все были "только свои" - оба его административных помощника, адъютант и курсовой врач.

Пельмени готовила и подавала пожилая, очень благообразная монахиня, такая вежливая, такая сердечная, радетьельная, словно родная мать.

"Голубчики-и!..ешьте вволю, ешьте на здоровье!.. еще сварю.. я их много наготовила", потчивала она и, своими приятными ласковыми глазами, так любовно-матерински смотрела на нас всех, не присев ни разу за стол.

Мне очень понравилась монастырская жизнь, ее уставы, ее цель, труд и заботы. Несомневаюсь, что в женский монастырь уходят люди благородной жертвенной души. При курсах был любительский смешанный хор. Пели по-ученически, по нотам. Принимал и я в нем иногда участие. Пели и на клиросе в монастыре, но уже под управлением монахини. У них был и свой, чисто женский, монастырский хор. Если поют ангелы на небесах, то они переняли это от монашенок, иль - монашенки переняли от ангелов, так надо понимать церковное пение монашек в монастыре. В нем есть что-то, именно, святое.

Распростились. Роберт Иванович Плом уехал. Провожать опального не разрешалось. Новый начальник вступил в исполнение своих обязанностей.

Записался он в партию по убеждению-ли, иль для карьеры - никто не может знать, и только он сам знал, "что делает". Он сразу-же зажал всех в свои руки. Видна была офицерская опытность в управлении солдатами.

Раньше мы и не видели строевых занятий с молодежью, а теперь вдруг видим, как он, наблюдая ученье одного взвода, резко кричит-командует:

Казенных подметок не жалеть!... Левоу!... Левоу!... Ать, два!"

Бежать, бежать!... И как можно скорее бежать! - закрутилось в голове, но - еще не стал полностью снег. В лесах он еще глубок. Мне-же в Финляндию придется бежать только лесом... Поэтому надо еще ждать и быть осторожными.

/лесом/

- \* -

Много было интересных, характерных встреч и картинок в нашей "одиссее" по красной России и все не в пользу красной власти.

"Возьмите на память "царскую вещь", говорит мне где-то в Екатеринбурге приятный старичек и дает обыкновенную иголку.

"Кто этот чудак?", спрашиваю кого-то.

"Он не чудак... это был богатый человек... красные отобрали у него многое, но кое-что оставили. Так он теперь и раздает всем свою мелочь, называя их "царскими вещами", как очень прочными, в сравнении с советскими изделиями.

"Эх, если-бы на этот шлем, да вместо красной звезды, насапить литой двуглавый орел!.. вот была-бы красота!" - говорит при нас с Богаевским один из помощников Роберта, в канцелярии, одному ротному командиру-коммунисту. Тот на это ничего не ответил.



## Н А Ш А   Н А Д Ю Ш А . . . .

Трагическая страница... незаживаемая рана в моем сердце до сих пор.  
И не заживет н и к о г д а . . . .

С начала нашего скитания по лагерям и тюрьмам красной России, мы исправно получали письма из станицы. Их писала Надюша, всегда обстоятельно, с полной любовью к нам, братьям. Маловалась на притеснения красной властью казаков и, в особенности, нашего семейства.

Как участницу отхода казаков на Черноморское Побережье - по ее возвращению в станицу, вызвали "в совет", допросили и, в наказание, заставили ходить по дворам и описывать количества зерна в амбарах у казаков. Писала она нам со слезами, как ей приходилось морально трудно исполнять эти обязанности над своими родными станичниками, которую все так хорошо знали и любили и считали героиней, ушедшей с казаками в неведомый поход. Да и вообще - наше семейство было примерное в станице родной.

На мольбы теперь безправных казаков, в особенности казачек, она давала неверные сведения. Проверив - власть отстранила ее и назначили "переписчицей" в местный полк. Узнав, что она отходила с казаками "за Кубань, в горы" - уволили со службы.

Летом, из гор появился генерал Фостиков с казаками. Ее взяли "на-учет" запретив выезд из станицы.

Писала, что за невыполнение семейством разверстки маслом, яйцами, молоком - сидела несколько раз в подвалах" х. Романовского /теперь г. Кропоткин, Ф.В./

В семье сплошное горе. Пленный красноармеец-работник, которому я спас жизнь, и который сам просил оставить его работником в семье, пока окончится война - по нашем уходе, забрал всех четырех рабочих лошадей со сбруею, запряг мажару и уехал к себе домой. Он, действительно, проработал "до конца войны"... Жуткая ирония действительности. Сделаны посеы в поле, внизу над Кубанью два огорода, а работать не на чем. Да и кому работать? Мы все три сына "в неизвестности"... Дома 75-летняя бабушка-сухенькая старушка, 50-летняя мать наша, уставшая от рождения 12-ти детей, уставшая от труда, от горя, от потери мужа, от потери трех своих сыновей-офицеров, оторванных от ней и брошенных в полную и трагическую неизвестность, за их судьбу. Их она, как оказалось, уж никогда не увидит в живых.... За Надюшей-же идут две сестренки-подростки. Вот и все, что осталось от нашего многочисленного, и так дружного в любви друг к другу, и в труде, семье нашего дорогого отца.

В октябре 1920 года, в Москве, получаем от нея ужасное письмо: - "У нас все отбирают и выселяют в Архангельск... П о м о г и т е!" - воплем полной беспомощности заканчивается это письмо. Но чем мы с братом могли помочь, сами безправные?!

Что случилось - неизвестно, но высылка в Архангельск была отменена.

Письма от Надюши прекратились. Получаю от старшей сестры, у которой дочка была на один год моложе Нади, что - "в один из дней, из Романовского /г. Кропоткин/, на тачанке, прибыл председатель Отдельского "чека", вызвал Надюшу и увез ее на допрос к себе, а через два дня вернулся с нею и сообщил бабушке и маме, что "Надя его жена"... Что было в семействе - описать трудно", заканчивает свое короткое письмо наша старшая сестра.

Ка-ак!.. такая ярая казачка!.. такая ненавистница красных!.. участница похода в горы с казаками!.. красные убили ее отца!.. разорили все хозяйство!.. нас сослали за Уральские горы!.. и она теперь замужем "за чекистом!" - жутью пронеслось в голове. Это было явное насилие и месть, заключил вывод я.



Но вот письмо от Нади. Она просит меня не винить ее. Так случилось. Муж злой, ревнивый, жестокий. Разстрелял некоторых видных стариков станицы в том числе и ее крестного отца, Алексей Семеновича Сотникова, большого общественного деятеля, бывшего Атамана станицы, красу и гордость станицы. Он так-же отступал в горы с двумя своими старшими сыновьями офицерами.

"На коленях просила пощадить хоть крестного отца", пишет она. Не пощадил. "Упрекает меня Вами, братьями офицерами" - добавляет в письме

Дальше жалуется, что она заболела какой-то непонятной для нее женской болезнью. Это было ее последнее письмо. Потом, вообще, все замолкло из родной семьи.

- \* -

В Колмедане почта приходила в обеденное время. После долгого промежутка времени - письмо от старшей сестры, нашего "первенца" из 12-ти детей. Вскрываю, читаю и не верю своим глазам... Вот оно, неизлечимой скорбью, незаживаемо, вошло во все мое существо...

Дорогой любимый братец Федя.

Грусть и тоска невыносимая... Ты, милый Федя, пишешь Наде поклон, а ее вот уже давно нет в живых... умерла 23 марта 1921 года. Муж заразил ее нехорошей болезнью и она не выдержала, от горя и стыда, застрелилась...

Мы скрывали от тебя, что бы не расстраивать тебя, но теперь стало невыносимо лгать. Что переживают бабушка и мама - одному Богу известно.

Успокойся мой милый Федичка. Что произошло, того не воротись. Так жаль и жаль..

Твоя, всегда любящая, Мэня.

Прочитав это - я был поражен и убит. Я окаменел. В глазах рябило. Я боялся пошевелинуться. Я боялся придти в себя и взять в здравый рассудок, что Надюша, такая жизнерадостная, веселая, задорная, такая всегда рассудительная - она, в 18 лет от рождения - покончила с собой....

У меня что-то оборвалось внутри. Я боялся взглянуть на письмо и еще раз прочесть роковые слова... Давно лелеянная мечта "бежать за границу" - стала так близка, так необходима.

Бежать!.. Бежать из этой красной России, бежать куда глаза глядят, но только не быть здесь и переживать беспомощно все преступления и варварство красной власти, с которой надо бороться. Эта борьба возможна лишь тогда, когда я буду свободен. Бежать!.. и бежать надо как можно скорее - решил я.

- \* -

Потом, уж за границей, я получил письма от двух ее подруг, что этот варвар заразил ее с и ф и л и с о м... Узнав об этом от врача, неискушенная чистая душа Надюши неперенесла и позора и ужаса.. После трагического объяснения "с мужем", когда он вышел из комнаты - она схватила его револьвер и пять пуль выпустила себе, почему-то, в живот. Ее привезли в станицу, в бывшую Войсковую больницу и она, в мучениях, на третий день умерла на руках матери с неистовыми криками: - "Спасите меня!.. Спасит-те!" -обезумевшей-

Станичный учитель, сверстник нашего меньшого брата Георгия, писал мне, что - в станице Надю считаю Героиней. "Она должна была застрелить его, этого изверга, а потом себя... тогда бы она была героиней", ответил я ему с горьким сожалением случившагося.

Так жестоко погибнуть в свои 18 лет - зачем-же было и родиться?!...



Надюша была на десять лет младше меня и девятая по рождению у нашей матери-страдальцы.

Кто-же был этот варвар, погубивший невинную ее душу!?. Уж потом, за границей, получил кесточку от ее подруг-сверстниц. Он был пришелец на Кубань и был не только что коммунистом, а был начальником "особого отдела особого пункта" 9-й красной армии. Проклятие ему ото всего нашего семейства!

#### ПЕРЕЖИВАНИЕ ДУШИ. МОИ ПЛАНЫ. ОТЪЕЗД ИЗ КОЛЧЕДАНА.

Я загрустил, зачах. Все удивлялись моему нездоровому лицу и убийственной сумрачности.

Мне стало, буквально, не в состоянии пребывания "в стране родной", называемой "Российская Федеративная социалистическая советская республика". Я боялся, что - или задохнусь в ней, или произведу безумный шаг, за который непоправимо пострадаю.

Бежать, бежать!.. скрыться из этой ужасной страны, возобновить борьбу вновь против этой ненавистной красной власти - явилось в моем существе главным доминирующим стремлением, всею целью моей жизни. Но первым делом надо легально выехать из Колчедана в Екатеринбург. Обратившись ко врачу курсов, сказал ему что я болен, прося отправить в Екатеринбург, в госпиталь. Посмотрев глубоко в мои глаза, не спросив ничего "о моей болезни", и не осмотрев меня - он выдал документ.

Документ о болезни получен. На другой день, 16-го мая нового стиля, во время обеденного перерыва, в монастырском дворе, отозвав в сторону полковника В.Н. Богаевского и всех пять кубанских казаков, служивших на курсах писарями, сев на землю маленьким кружком, тихо говорю им:

"Ну, други мои верные - прощайте!.. Те смотрят на меня и непонимают, что я им хочу сказать.

"Да, прощайте... завтра я уезжаю... уезжаю, якобы в Екатеринбург по болезни, а оттуда - за границу... Я бегу.. я бегу из своего Отечества за границу... я не могу дальше терпеть эту муку. Извините меня, в особенности Вы, дорогой Владимир Николаевич /обращаясь к Богаевскому/, что я ото всех Вас это скрывал... но я задумал бежать уже давно... а теперь, со страшной смертью сестренки - решил бежать как можно скорее. Бегу в Финляндию. Это ближайшая страна отсюда". Сказал и замолк.

"Правду-ли Вы говорите, Федор Иванович?" - удивленно спросил Богаевский.

Я снял фуражку и молча перекрестился. Он схватил мою руку, крепко жмет и, коротким фразами, быстро, несвойственно ему, произносит:

"Очень Рад! Хорошо делаете Федор Иванович! Дай Вам Бог успеха! А я в душе, обижался на Вас, что Вы не хотите принять участие в нашем возмании! Теперь я Вас понимаю. Ваш план, даже, лучше нашего".

На эту тему я не стал говорить с ним, совершенно не веря в успех предполагаемого "крестьянского возмания". И погибнет он до его начала...

Вот день 17-го мая. Заранее ликвидированы ненужные вещи на сухари. На мне только летний спортивный костюм защитного цвета - фуражка, гимнастерка и брюки в напуск на сапоги. Фонерный чемоданчик с сухарями, пара белья, кожанная тужурка и шинель лежат в углу. Только два часа времени осталось до моего отправления на станцию, но терпения нет. Что-то давит на душу. Весь горю... даже пробирает лихорадочная дрожь. Никогда не испытывал такого волнения. И не удивительно: - я ставил на карту "все" - себя, семью. Я покидал свое Отечество может быть навсегда, как покидал и любимую



семью отца, что-бы уж никогда не встретиться с ними на этом свете. Предчувствия оказались точными: - все они погибли...

Я просил казаков не провожать меня, что бы не вызвать подозрения. Просил быть только одному из них, т.к. душа моя совершенно не выносила одиночества.

Я никогда не забыл добрых серых глаз этого молодого казака, смотревших на меня так преданно, желавшему помочь мне всем, чем он мог.

Верные казаки! Верные без официальной присяги, верные по своему станичному воспитанию, верные по своей принадлежности к казачьему трудолюбивому братству, родившемуся, выросшему и жившему в однородной Казачьей стихии труда и военной службы.

Сложив свои вещи в товарный вагон - я сгорал нетерпением - "скорее тронуться в путь". Я боялся всего. Мне казалось, что все смотрят на меня, и все знают, что "я бегу"... бегу отсюда, но все молчат, не показывают вида, но с последним звонком, кто-то подойдет из них и... арестует. Такова сила страха в своей беспомощности.

Я старался улыбаться. Улыбался и этот молодой казак, но моя улыбка была, видимо, с такою гримасою страха, что он старался закрыть меня от взоров других своею фигурою.

Ваня

"Я целовать тебя не буду! Ведь я еду только в госпиталь... на не долго... и это может показаться странным для всех. Но я мысленно, в твоём лице, целую все Казачество, целую все наше дорогое Кубанское Казачье Войско. Я не вернусь... может быть погибну в дороге, то... поклонись от меня Казачьей земли родной!.. говорю ему урывками, вдали от всех, что бы никто не слышал нас.

"А когда будешь на Кубани - обязательно проезжай в нашу станицу и расскажи нашим - бабушке, матери, сестрам о моих последних минутах здесь".

"Уорошо Федор Иванович" - с дрожью в голосе и с какою-то боязнью шепчет мне мой милый, тихий по характеру, меньшей брат-казак.

"Я все понимаю... и не беспокойтесь... обязательно проеду в Вашу станицу и повидая Вашу Маму... и все расскажу" - радуется он меня своими словами.

Минуты идут томительно. Говорить больше уж не о чем. Все переговорено. И когда вышел начальник станции, когда народ, гурьбою, стадом, чисто по-русски бросился в свои товарные вагоны - я не утерпел... Схватив руку казака и, в суматохе всех, быстро поцеловал его в губы. Он растерялся, густо покраснел и взял руку "под козырек". И когда двинулся наш поезд - у меня стало, как-то, очень легко на душе, словно я перешагнул запрещенную черту, почему весело махал рукою из вагона грустно стоявшему на платформе единственному свидетелю с Кубани о моем отбытии в полную и очень опасную неизвестность... Возможно, он жив, почему фамилию его не хочу назвать

Полковник Ф. Елисеев.

Написано в Индокитае /бывшая Французская колония/ в августе 1941 г., сокращенно издано в октябре 1964 г. в Нью-Йорке.

Следующая, последняя, и заключительная, брошюра № 14-й будет выпущена под заглавием - "П о б е г и з к р а с н о й Р о с с и и".

Ф.Е.